

Повесть
МЕЛЬНИКОВ
(*Андрей ПЕЧЕРСКИЙ*)

*Княжна Тараканова
и принцесса Владимирская*



Павел Иванович Мельников-Печерский

Старые годы

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2377505

Княжна Тараканова и принцесса Владимирская : повести, рассказы, письма, очерк / Павел Мельников (Андрей Печерский).: Эксмо; Москва;

2011

ISBN 978-5-699-52030-5

Аннотация

«По другую сторону Заборья высятся на горе палаты князей Заборовских. Величественный дворец, строенный в прошлом столетии по плану Растрелли, окруженный полуразвалившимися флигелями и службами, господствуя над Волгой и Заборьем, угрюмо смотрит на новую, развившуюся под его ногами деятельность. Запустелый, обветшалый, точно переглядывается он с древними зданиями монастырскими... Ведут меж собой каменные старцы беззвучную беседу о суете мирской, что внизу гулом тысячи голосов и звуков дает знать о себе, о приволье места и о довольстве народа. Ведут угрюмые старцы беседу, а сами будто сокрушаются, что минули *старые годы*, когда наверху былолюдно и шумно, а внизу говорить громко не смели...»

Содержание

| | |
|-----|-----|
| I | 20 |
| II | 28 |
| III | 40 |
| IV | 55 |
| V | 72 |
| VI | 97 |
| VII | 111 |

Павел Иванович Мельников-Печерский Старые годы

Довелось мне раз побывать в большом селе Заборье. Стоит оно на Волге. Место тут привольное.

Это гнездо угасшего рода князей Заборовских. Теперь оно принадлежит разбогатевшему откупщику Кирдяпину, родитель же его некогда был подносчиком в Разгуляе. А Разгуляй – любимейший народом кабак в селе Заборье. Стоит он между пристанью и базаром: место веселое, бойкое.

Местность в Заборье живописна. Крутой, высокий берег Волги тут перемежается, образуя обширную, покатую к реке лощину, в ней построено Заборье. Там до десятка золотых церквей, сорок либо пятьдесят двухэтажных каменных домов, больше тысячи деревянных, городской постройки, обширный гостиный двор, несколько фабрик и заводов: всюду кипучая деятельность. По волжскому берегу тянется длинный ряд амбаров для складки хлеба и других товаров, у пристани стоит не одна сотня барок, расшив, ладей, паузков и других разной величины парусных судов. Поодаль, у особой пристани, устроенной в Кривоборском затоне, дымятся пароходы. В стороне мель, на ней обсохшая коноводка.

И справа и слева тесно застроенного и шумно оживлен-

ного Заборья великанами высятся крутые горы из красного мергеля. На одной красуются величественные храмы XVII века, украшенные снаружи стенописью, увенчанные золотыми шатрами и куполами. Вместе с громадными двухэтажными зданиями они обнесены зубчатыми белокаменными стенами, высокими башнями и бойницами. Ни казанские татары, ни лисовчики, ни сообщники Разина не могли взять тех твердынь, хоть не раз пытались овладеть Заборским монастырем, зная о сокровищах, в нем сохранявшихся. Теперь не то, теперь здесь тихое и безмятежное пристанище немногих иноков, просторно разместившихся по уголкам громадных келий, где в старые годы тесно было жить многочисленной братии и толпам слуг и служебников Заборской обители.

По другую сторону Заборья высятся на горе палаты князей Заборовских. Величественный дворец, строенный в прошлом столетии по плану Растрелли, окруженный полуразвалившимися флигелями и службами, господствуя над Волгой и Заборьем, угрюмо смотрит на новую, развившуюся под его ногами деятельность. Запустелый, обветшалый, точно переглядывается он с древними зданиями монастырскими... Ведут меж собой каменные старцы беззвучную беседу о суете мирской, что внизу гулом тысячи голосов и звуков дает знать о себе, о приволье места и о довольстве народа. Ведут угрюмые старцы беседу, а сами будто сокрушаются, что минули старые годы, когда наверху былолюдно и шумно, а внизу говорить громко не смели...

Исправник предложил мне показать заборский дворец, но нескоро добился ключей. Трое дворовых, приставленных для охраненья гнезда угасших князей Заборовских, рассчитав, что злонамеренные люди не украдут вверенного им здания, отправились на пристань шить кули, чтоб, заработав по пятиалтынному на брата, провести веселый вечерок в Разгуляе.

Покамест сотский их отыскивал, мы пошли в сад. Сад огромный, версты на полторы тянется он по венцу горы, а по утесам спускается до самой Волги. Прямые аллеи, обсаженные вековыми липами, не пропускающими света божьего, походили на какие-то подземные переходы. Местами, где стволы деревьев и молодых побегов срослись в сплошную почти массу, чуть не ощупью надо было пробираться по сырым грудам обвалившейся суши и листьев, которых лет восемьдесят не убирали в запущенном саду.

Кой-где уцелели каменные постаменты, на них в старые годы стояли статуи. Известный богач прошедшего века, князь Алексей Юрьич скупил много статуй за границей и поставил их в своем Заборье. Куда после девались они, бог знает. Вот на одном постаменте уцелели буквы: «Jov... omnipoten...»¹. На другом ясна надпись: «Venus et Adonis»².

Повернув из главной аллеи в сторону, очутились мы перед

¹ Юпитер... всемогущий... (*лат.*).

² Венера и Адонис (*лат.*).

глубоким оврагом, что, простираясь до самого волжского берега, разделяет сад на две части. Смелой аркой перекинут был через тот овраг каменный мост, на дне шумел родник, скрывавшийся в сочной густой зелени. За мостом каменный павильон – это Parc aux cerfs³ Заборья старых годов... Давно свалились его двери, давно вышиблены из окон его рамы, ветер да зимние вьюги свободно гуляют по комнатам, где чего-то не бывало в старые годы!.. В одной комнате уцелели фрески, и какие фрески! Недюжинный маляр их работал. Вот Венера в объятиях Марса – хорошо сохранились свежие, роскошные перси и руки богини красоты, досадная улыбка безобразного Вулкана до сих пор мерещится мне, только что вспомню павильон заборский... На другой стене нагая Леда страстно прижимает лебедя, на третьей свеженькая нимфа лениво отталкивает обхватившего ее сатира, а на четвертой сладострастно раскинулась юная вакханка, и ее

Налитые негой груди,
Чуть прикрытые плющом,
И белее снега зубы
И пурпуровые губы —
Манят поцелуй...

Плафон осыпался, но по сохранившимся остаткам заметно, что он изображал торжество Приапа... Сколько белобры-

³ Олений парк (*франц.*).

сих Акулек и чернявых Матрешек перебивало здесь в качестве живых нимф и вакханок.

– Вон там был другой такой же павильон! – оказал исправник, указывая на грудку кирпичных осколков, выглядывавших из лопушника, полыни и чернобыли.

– Развалился?

– Нарочно сломали.

– Зачем?

– Да видите ли, что здесь болтают: князь Данила Борисович, годов тридцать тому назад, приезжал в Заборье и в том павильоне находку, слышь, какую-то нашел, да после того и приказал его сломать.

– Что ж он нашел?

– Да болтает народ... оно, может, и вздор, а все-таки намолвка идет, будто в том павильоне одна комната исстари была заложена, да так, что и признать ее было невозможно. А князь Данила Борисович тайно ото всех своими руками вскрыл ее.

– Ну?

– Ведь это одна намолвка, Андрей Петрович, а правда ли, нет ли, господь ведает. Клад, что ли, какой-то там нашли, только на стене, слышь, гвоздем было что-то нацарапано. Как только князь Данила Борисович прочитал, тотчас стену своими руками топором зарубил, а потом и весь павильон сломать приказал.

– Что ж такое там было?

– Чего здесь в старые годы не бывало?.. Да вы изволили, конечно, читать «Удольфские таинства» госпожи Ратклиф?

– Читал. А что?

– У нас по уезду старики-помещики говорят, будто госпожа Ратклиф те таинства с Заборья списывала. Правду ли, пустяки ль говорят, доложить не могу... А болтают.

– Скажите, пожалуйста, не осталось ли стариков, что жили в Заборье при князе Алексее Юрьиче?

– Где же? Помилуйте! Ведь князь-от Алексей Юрьич лет сто тому как помер. За пятнадцать лет до Пугачевщины скончался, считайте, сколько тому времени. Сын его, князь Борис Алексеич, и внук, князь Данила Борисович, подолгу здесь не живали, а княжна Наталья Даниловна и вовсе здесь не бывала. После нее имение за долги продано, теперь стало кирдяпинское. Старина и забылась. А долго-таки кое-что поддерживалось... Вот и я еще помню псарню здесь, музыкантов, арапа старого да карлика – древний-надревний был. Мало-помалу переводили все, а как вотчина к Кирдяпиным перешла, все порешилось. Сами изволите знать, уж как оно ни на есть, а все чужое. Оттого и не жаль. Был здесь старик Прокофьич. Чуть-чуть его помню. Да вот уж лет сорок, как и он помер. Вот он так уж всю подноготную про здешние старые годы знал. Дожил до ста лет, а в молодые годы, при князе Алексее Юрьиче в стремянных бывал. Мне про того Прокофьича Валягин Сергей Андреич много рассказывал, управляющим здесь был... Посажен был на вотчину Сергей

Андреич князем Данилой Борисовичем, умер при княжне. Славный был человек, хороший, умный такой. Он даже записывал все, что ни рассказывал ему Прокофьич. Видал и я у покойника такую тетрадку.

– Куда ж она девалась?

– У наследников, должно быть, коли на подвертку свеч да на пироги не извели. После Сергея Андреича две дочери-девушки остались, у них должна быть.

– А где его дочери?

– А как Сергей-от Андреич помер, уехали они к тетке не то в Херсонскую, не то в Костромскую губернию, хорошенько сказать не могу. Слышно было, что замуж повышли, а за кого – тоже доложить не могу.

Между тем, сотский привел одного из хранителей заборовского дворца. Исправник приличным образом поругал его, посулил березовой лапши с ременным маслом и приказал отпереть дом.

Сыростью и затхлою гнилью пахнуло, когда отворили двери чертогов князей Заборовских. На каждом шагу из-под ног густая пыль поднималась, а ворвавшийся в растворенные двери поток свежего воздуха колыхал отставшие от стен и лохмотьями висевшие дорогие, редкостные когда-то шпалеры. Не грустью, не печалью веяло со стен запустелого жилища былой роскоши и чудовищного своенравия: будто с насмешкой и сожалением смотрели эти напудренные пастухи и пастушки, что виднелись на обветшалых дырявых гобеле-

нах, а в портретной галерее потемневшие лики людей старых годов спесиво и презрительно глядели из потускневших резных рам... «Зачем вы зашли сюда, незваные гости? – будто спрашивали они. – Чего не видали... Вон ступайте, жалкие люди, мы вас не знаем, да и вам никогда не изведать нашей раздольной, веселой жизни, нашего буйного разгула, барских затей и ничем неудержимых порывов!..»

– Вот князь Алексей Юрьич! – сказал исправник.

Высокий, тучный князь стоял перед нами. Открытое лицо с римским носом и выдавшеюся вперед нижней губой выражало спесь непомерную и крутую волю, никогда и ни в чем не знавшую противоречия. Князь улыбался, но улыбка лукава была и коварна. Вот-вот сейчас нахмурится это высокое чело, и хитрые, слегка прищуренные, черные глаза заблестят неукротимым гневом... Рядом стоял портрет статной высокой женщины в желтом атласном помпадуре с черными кружевами. Лицо было прекрасно, в глазах много ума, но тихая затаенная грусть виднелась в них. Немного радостей, должно быть, видела она на веку своем!

– Это княгиня Марфа Петровна, – сказал исправник, – супруга князя Алексея Юрьича.

Один портрет особенно поразил меня. В голубой робе на фижмах, с тонко и кокетливо перегнутой талией, стояла, вероятно, молодая женщина: прекрасная ее рука, плотно обтянутая длинной перчаткой, играла розою. Но лицо, все лицо было густо замазано черною краской...

– Это что значит? – спросил я у исправника.

– А господь их знает, должно быть, не похожа была.

– Однако ж что у вас про это толкуют?

– Да говорить-то много говорят... Сказывают, что это первая супруга князя Бориса Алексеевича. В замужестве, слышь, недолго находилась, а взята была откуда-то издалека. Только что молодые успели, слышь, сюда к отцу приехать, князь Борис Алексеевич на войну ушел, супруга его стосковалась, в полк к нему поехала, да на дороге и померла. А скоро после того и сам князь Алексей Юрьич помер. Говорят, будто по смерти молодой княгини очень он тосковал... Пошел, слышь, раз в портретную один да и упал без памяти перед этим портретом. А как в чувство пришел, велел замазать лицо. И как замазали, на другой же день богу душу отдал. А другие говорят, что хлебнул чего-то... С мышьячком, должно быть, потому что перед смертью он ведь под суд попал...

В кабинете на стене висела писанная на пергаменте родословная. Похвально поступили господа Кирдяпины, оставив чуждый им пергамент в запустелом жилище князей Заборовских. Будто живой повествователь об угасшем роде, он здесь на своем месте.

Вот у корня родословного древа красуются имена Гедимина литовского, Монтевида керновского, Любарта волынского... Вот князь Минигайло Зимовитович... Приехал он в Москву на службу к великому князю Василию Дмитриевичу, крещен самим митрополитом Фотием и прозван князем

Заборовским. И пошел от него ряд бояр, воевод и думных людей: водили Заборовские московские полки на крымцев и других супостатов; бывали Заборовские в ответе⁴ у цесаря римского, у короля швейцарского, у польских панов Рады и у Галланских статов; сиживали Заборовские и в приказах московских, были Заборовские в городских воеводах, но только в городах первой статьи: в Великом Новгороде, в Казани или в Смоленске... А вот сын окольного, князь Юрий князь Никитич Заборовский, уже бритый, сидит обер-штеркригс-комиссаром в кригс-комиссариатской конторе военной коллегии... Скончался в Питербурх-городке после попойки с голландскими матросами и знатными персонами из российского шляхетства...

Единственный его сын, князь Алексей Юрьич, большой службы не сослужил, а *в случае* бывал. При Петре Великом ходу ему не было, потому что в дело не годился, зато ловкий князь после умел наверстать и взять свое: вовремя подбил к Меншикову, вовремя вошел в дружбу с молодым Долгоруковым, вовремя съездил в Митаву на поклонение Бирону, вовремя перекинулся к Миниху, вовремя сблизился с Лестоком. И когда правительственные перемены сопровождались казнями и ссылками, благополучие князя Алексея Юрьича оставалось неизменным: чины и деревни летели к нему при каждой перемене.

Нельзя сказать, чтобы он был человек умный: образова-

⁴ В послах.

ние получил плохое, а от природы был коварен, тщеславен, к тому же был великий мастер лгать и хвастать непомерно. При Петре Великом приходилось ему сдерживать свой неукротимый нрав, в то время мог он давать полную волю одной только страсти – бражничанью. Много тогда было важных людей, сбривших бороды, надевших немецкие кафтаны, но оставшихся верными той стороне русской народности, про которую еще равноапостольный Владимир сказал: *«Руси есть веселие пити»*. Но, напиваясь, под защитой вельможных бражников, князь Алексей Юрьич вел себя так увертливо, что ни разу не отведал родительского наставления от петровской дубинки. Не понимая и не сознавая важности дела сближения русского общества с Европой, Заборовский полюбил, однако, общество иностранцев, в особенности близок был с венским резидентом Гогенцоллерном, с голштинским бароном Стамбкеном, с прусскими баронами Мардфельдами, а они, как гласит история, были горькие пьяницы⁵.

Никогда князь Алексей Юрьич не был так доволен судьбой, как в короткое царствованье Петра II. Хоть в то время было ему уж под сорок, но вошел он в тесную дружбу с даровитым, обаятельным, но беспутным юношей, князем Иваном Алексеичем Долгоруковым и был с ним все три года его могущества неразлучен. Князь Заборовский, под защитой всесильного кутилы, дал полную волю своему разгулу.

⁵ Записка Дюка де-Лириа.

Под прикрытием драгун, ровно сумасшедший, скакал он с князем Иваном по московским улицам, буйствовал днем, а по ночам нагло врвался в мирные семейства честных людей... Но когда Долгоруков девятилетней ссылкой и смертью на колесе платил за грехи молодости, ловкий князь Алексей Юрьич, ругая на чем свет стоит павшего собутыльника, с прекрасным аппетитом изволил кушать за роскошными обедами герцога Эрнста-Иоанна Курляндского. Будучи знатоком в лошадях и проводя ночи в попойках с братом герцога, Карлом, был он в ходу при Бироне, достиг генеральского ранга и получил кавалерию Александра Невского... Но в 1743 году счастье повернуло к нему спину: сказано было князю Алексею Юрьичу ехать в свои деревни. Такую немилость современники объясняли близкими отношениями его к царице всех балов и ассамблей, графине Ягужинской, и дружбою с первой красавицей Петербурга, Натальей Федоровной Лопухиной. Под шумок поговаривали, будто Ягужинская в числе немногих принимала князя Заборовского во время своего таинственного затворничества, будто фавориту Натальи Федоровны, графу Рейнгольду Левенвольду, князь Алексей Юрьич проигрывал в фаро огромные суммы, будто близок он был с венским резидентом, маркизом Боттой, будто раз на охоте арапником отдул самого Разумовского. Правда ли, нет ли – кто теперь разберет?..

Когда ветреных красавиц, приятельниц князя Заборовского, постигла плачевная участь, сам он хоть не совсем чист

вышел из дела, но так сумел обделать делишки, что ему только велено было отправиться в свои вотчины для приведения в порядок расстроенных дел. Таким образом жив, здрав, невредим приехал князь Алексей Юрьич в свое Заборье; здесь он начал строить великолепный дворец, разводить сады и вести жизнь самую буйную, самую неукротимую... В деревенской глуши, в забытом уголке, никем и ничем не удерживаемый, он предался той жизни, что так по сердцу пришлась ему во дни могущества князя Ивана. Не только в Заборье, – по всей губернии все ему кланялось, все перед ним раболепствовало, а он с каждым днем больше и больше предавался неудержимым порывам необузданного нрава и глубоко испорченного сердца... Вскоре для князя не стало иной законности, кроме собственных прихотей и самоуправства... При таком состоянии человека до преступления один шаг, и князь Алексей Юрьич совершал преступления, но, совершая их, нимало не помышлял, что грешит перед богом и перед людьми. О последних-то, впрочем, он не заботился и, щедро оделяя вкладами монастыри, строя по церквям иконостасы и платя за молебны пригоршнями серебра, твердо уповал на божье милосердие... И до того дошел князь Заборовский, что рассказы про его житье-бытье в наше время кажутся страшной сказкой...

Женат был князь Алексей Юрьич на княжне Марфе Петровне, последней в роде князей Тростенских. Своим приданым увеличила она и без того огромное богатство кня-

зей Заборовских. Единственный сын их, князь Борис Алексеевич, крестник императрицы Анны Иоанновны, вахмистр гвардии в колыбели, двадцати лет уехал из Заборья в Петербург искать счастья. Находясь с полком в каком-то захолустье России, влюбился он в дочь небогатого дворянина Коростина, женился на ней без родительского благословения и, за неимением наличных денег, приехал через год после свадьбы в Заборье, кинуться вместе с женой к стопам оскорбленного родителя... Ждали страшной грозы; дело кончилось благополучно. Молодая княгиня была так прекрасна, так была образованна, так умна, что с первого свидания умела растопить каменное сердце сурового свекра... Вскоре началась Семилетняя война, молодой князь Заборовский поспешил под знамена Апраксина, оставив в Заборье молодую жену. Стосковавшись по муже, поехала она к нему в новопокоренный Мемель, но умерла по дороге...

После войны вдовый князь Борис Алексеевич поселился в Петербурге, женился в другой раз и, прожив до 1803 года по-барски, скончался от несварения в желудке после плотного ужина в одной масонской ложе. Целую жизнь, будто по заказу, старался он расстроить свое достояние, но дедовские богатства были так велики, что он не мог промотать и половины их, оставив все-таки три тысячи душ единственному своему сыну и наследнику, князю Даниле Борисовичу. Этот последний князь в древнем роде князей Заборовских как ни старался поправить грехи родительские, но не мог вос-

становить дедовского состояния. Впрочем, и сам он протирал-таки глаза отцовским денежкам исправно. С воронцовским корпусом во Франции был, денег, значит, извел немало; в мистицизм, по тогдашнему обычаю, пустился, в масонских ложах да в хлыстовском корабле Татариновой малую толику деньжонок ухлопал; делал большие пожертвования на Российское библейское общество. Душ восемьсот спустил понемножку. Дочь его, княжна Наталья Даниловна, как только скончался родитель ее, отправилась на теплые воды, потом в Италию, и двадцать пять лет так весело изволила проживать под небом Тасса и Петрарки, с католическими монахами да с оперными певцами, что, когда привезли из Рима в Заборье засмоленный ящик с останками княжны, в вотчинной кассе было двенадцать рублей с полтиной, а долгов на миллионы. Близких родственников у княжны не было, из дальних не оказалось ни в одном столь нежных родственных чувств к покойнице, чтоб воспользоваться Заборьем да кстати уж принять на себя и долгишки итальянские. Кончилось тем, что Заборье пошло под молоток. Сын подносчика в Разгуляе стал владельцем гнезда знаменитого рода князей Заборовских, а кредиторы княжны получили по тридцати пяти копеек за рубль...

О, Гедимины и Минигайлы! Как-то встретили вы последнюю благородную отрасль вашего благоцветущего корня – княжну Наталью Даниловну?.. Князь Алексей Юрьич! Вы-то, батюшка, ваше сиятельство, как изволили встретить свою

правнучку?.. Ну, он-то разве пожалел только, что встретился с нею не в здешнем свете. Здесь-то бы он расправился...

Лет через пять после того, как был я в Заборье, в одном степном городке на верховьях Дона, по случаю, досталась мне связка бумаг, принадлежавших какому-то господину Благообразову. Они состояли большею частью из черновых просьб, сочинением которых, как видно, занимался господин Благообразов. Но, представьте, каково было мое удивление, когда, разбирая кипу, в заглавии одной тетради я прочел:

Старые годы

Писано по словам столетнего старца Анисима Прокофьева с надлежащими объяснениями коллежским секретарем Сергеем Андреевым сыном Валягиным 17-го мая 1822 года в селе Заборье.

– Записки Валягина!

– Это, должно быть, тестя, – заметил случившийся на ту пору у меня один старожил того городка. – Благообразов-от на дочери Валягина был женат.

Вот «Записки Валягина».

I

Розовый павильон

Вскоре по приезде нашем в Заборье, только что принял я в управление вотчину, пошел я поутру с докладом к князю Даниле Борисычу. Он был не в духе.

– Я, говорит, сегодня ни на волос уснуть не мог. Что это за вой был у нас на рассвете?

– Должно быть, на псарном дворе собаки зверя учуяли, – докладываю ему.

А князь спрашивает с неудовольствием:

– Разве, говорит, у меня есть псарный двор?

– Как же, говорю, псарня у вашего сиятельства хорошая; собак пятьсот борзых да сотни полторы гончих. Псарей и до-езжачих при них до сорока человек.

– Как! – закричал князь, – шестьсот пятьдесят собак и сорок псарей-дармоедов!.. Да ведь эти проклятые псы столько хлеба съедают, что им на худой конец полтора ста бедных людей круглый год будут сыты. Прошу вас, Сергей Андреич, чтоб сегодня же все собаки до единой были перевешаны. Псарей на месячину, кто хочет идти на заработки – выдать паспорта. Деньги, что шли на псарню, употребите на образование в Заборье отделения Российского библейского общества.

– Слушаю, ваше сиятельство, – сказал я и тотчас же отдал приказ вешать собак.

Через полчаса приходит к князю древний старец. Лицо у него все сморщилось; длинные, по плечам лежавшие волосы пожелтели, во рту ни единого зуба, а черные глаза так и горят. Одет был он в старинный чекмень с золотым галуном, опоясан черкесским поясом.

– Я вековечный холоп вашего сиятельства, Анисим Прокофьев, – зашамкал старик, – а был, государь мой, первым стремянным у вашего дедушки, у князя Алексея Юрьича.

– Здравствуй, здравствуй, старик, садись-ка, устал, чай! – говорит ему князь.

– Сидеть мне перед вашим сиятельством не приходится. А пришел я к вам, государь мой, челом ударить.

– О чем, Анисим Прокофьич?

– Да слышно, ваше сиятельство, что изволили на нас свой княжеский гнев положить.

– Я?.. Что ты, Прокофьич?.. В уме ли?

– Не мудрое дело, ваше сиятельство, и ума лишиться от такого бесчеловечия!.. Избить шестьсот шестьдесят восемь собак, ничем неповинных!.. Это дело, сударь, не малое!.. Ведь это все едино, что как царь Ирод неповинных младенцев избивал!.. Чем бедные собачки провинились перед вашим сиятельством? Ведь это не шутка: шестьсот шестьдесят восемь собак задавить!.. Надо ведь будет вашему сиятельству и богу на страшном судище ответ отдавать...

– Полно, старик, успокойся, перестань... – говорит ему князь.

– Чего мне перестать... Коль я не буду говорить, кто тебе скажет? – гневно вскричал старый стремянный. – Да как же тому стать, чтоб всех собак перевешать?.. Дедами, прадедами псарня установлена, больше ста годов держится, прошла про нее слава по всему, почитай, свету, и вдруг ни с того ни с сего разом перевести ее!.. Да от такого дела, князь Данила Борисыч, кости твоих родителей во гробах повернутся, все твои деды, прадеды из гробов встанут, руки на тебя протянут, проклятье тебе изрекут. Знаешь ли ты, государь мой, что псарня-то наша со дней царя Петра Алексеича нерушимо стоит? За что ж ее порушить хотите?..

Да ведь это роду вашему вечный покор, всему вашему княжому племени бесчестье, не говорю уж про то, что на совесть свою такое душегубство хотите принять!.. Собака-то, батюшка, тоже тварь божия, а в Писании что сказано!.. – «блажен иже и скоты милует». Идете, ваше сиятельство, супротив божией заповеди!.. И вот, сударь, ваше сиятельство, надел я на старости лет жалованный чекмень вашего дедушки – двадцать лет в сундуке лежал, думал я, что придется его только в могилу надеть; вот, сударь, одел я и пояс черкесский, а жаловал мне этот пояс родитель ваш в ту самую пору, как, женившись на вашей матушке, княгине Елене Васильевне, привез ее в вотчину и в первый раз охоту своей княгине изволил показывать: никто из наших не мог русака угнать,

а сосед Иван Алексеич Рамиров уже совсем почти угонял, я поскакал, угнал русака и тем княжую честь перед молодой супругой сохранил... Власть ваша, князь Данила Борисыч, с места не сойду, покамест милости собакам не выпрошу.

– Да чего ж ты хочешь? – спрашивает у него князь.

– А того я хочу, ваше сиятельство, чтобы вы мне прежде голову приказали снять, а потом бы уж и собак вешать изволили... В этом чекмене, в этом поясе предстану я пред вашими родителями, дедами и прадедами, подведу к ним собачек, вами задавленных... А они-то, старики-то ваши, яко зеницу ока их берегли!.. Пусть же ваши родители судятся с вами на Страшном суде за такое злодейство... что не хотели вы уберечь родительского благословенья, пролили кровь неповинную!.. Дело мое, государь мой, старое, а порядки у вас новые, отпустите меня, ваше сиятельство, к господам моим: прикажите рубить голову, а там уж и собак вешайте.

От сильного волнения у Прокофьича дух занялся и ноги подкосились; он бы упал и расшибся, если б мы с князем его не поддержали. Без чувств вынесли старика из дома.

Горячее заступничество девяностолетнего стремянного спасло на время собак. Псарный двор в Заборье был уничтожен лишь после смерти князя Данилы Борисыча и Прокофьича...

Князь полюбил старика, часто призывал его к себе и расспрашивал о старых годах. По несколько часов, бывало, просиживали они вместе.

Раз, вечером, после долгой беседы с Прокофьичем, послал князь за мной, требуя, чтоб я тотчас же явился к нему.

Я нашел князя сильно возволнованным.

– Сергей Андреич, – сказал он, – в состоянии ли вы несколько часов, вместе со мной, проработать ломом?

– Как проработать ломом, ваше сиятельство?

– Пробить каменную стену... Видите ль, Прокофьич сейчас рассказал мне один необыкновенный случай старого времени... Мне бы хотелось узнать: вздор болтает старик или правду говорит... Посторонних, особенно своих крепостных, в это дело мешать не годится... Будьте так любезны, Сергей Андреич, не откажите...

Я согласился, дал слово и спросил князя, что ж такое рассказывал ему Прокофьич?

– Э, да все это, может быть, еще вздор... Прокофьич, кажется, из ума стал выживать, рассказывает вещи несодержательные... А все-таки хочется удостовериться... Завтра, надеюсь, вы исполните данное слово.

Я повторил обещание, и князь тотчас же завел речь о хозяйственных делах, но, занятый другим, вовсе не слушал слов моих. Наконец отпустил меня.

– Так завтра? – сказал он, подавая руку.

– Слушаю, ваше сиятельство.

Таинственность предстоявшей работы, какое-то необыкновенное событие старых годов, волнение князя – все это до такой степени распалило мое воображение, что я всю ночь

заснуть не мог. Чем свет присылает за мной князь.

– Пойдемте! – сказал он, когда я вошел в кабинет.

Пошел за ним. Князь отдал приказание, чтобы никто не смел входить в сад до нашего возвращения. Пройдя большой сад, мы перешли мост, перекинутый через овраг, и подошли к «Розовому павильону». У входа в тот павильон уже лежали два лома, две кирпичи, несколько восковых свеч и небольшой красного дерева ящик. Князь на рассвете сам их отнес туда.

В павильоне было пять или шесть комнат. Пройдя три, князь ударил в глухую стену и сказал:

– Здесь!

Мы принялись за работу; часа через полтора стена была пробита. Князь зажег свечи, и мы пролезли в темную, наглухо со всех сторон закладенную комнату.

Среди развалившейся и полусгнившей мебели лежал человеческий остов...

Князь перекрестился, заплакал и тихо проговорил:

– Упокой, господи, душу рабы твоея.

– Старик сказал правду! – прибавил он, немного помолчав.

– Что это? – спросил я, немного оправившись от первого впечатления.

– Грехи старых годов, Сергей Андреич... После все расскажу; теперь помогите собрать это...

Бережно собрали мы кости и положили их в ящик красного дерева. Князь запер его и положил ключ в карман. Ко-

гда мы собирали смертные останки, нашли между ними брильянтовые серьги, золотое обручальное кольцо, несколько проволок из китового уса, на которых кой-где уцелели лохмотья полуистлевшей шелковой материи. Серьги и кольцо князь взял к себе.

Утомленные трудом и сильными впечатлениями, вынесли мы ящик из сада.

– Сейчас же собрать человек полтора с ломami и топорами да нарядить пятьдесят подвод! – сказал князь бурми-стру, проходившему через двор.

Я зашел в свой флигель умыться и переодеться. Когда пришел к князю, его не было в кабинете.

– Где князь? – спросил я попавшегося лакея.

– В портретную галерею прошли! – отвечал тот.

Там, запыленный, запачканный, как вышел из павильона, стоял князь перед портретом женщины, у которой, по какой-то прихоти прежних владельцев, лицо было замазано черной краской. Знакомый ящик стоял на полу перед портретом. Я взглянул на князя. Он плакал.

И рассказал он страшную повесть старого времени. Подробнее узнал я ее после от Прокофьича...

Когда рабочие были собраны, князь приказал им сломать «Розовый павильон» до основания, а кирпич отвезти к строившейся тогда в Заборье церкви. Когда потолок с павильона был снят, мы еще раз вошли в ту комнату.

На стене чем-то острым было нацарапано: *1757 года октября 14-го. Прости, мой милый, твоя Варенька пропала от жестокости те...*

– Топор! – вскрикнул князь, прочитав эти слова.

Подали топор. Князь быстро изрубил штукатурку.

– Живей ломайте! – торопил он рабочих. – Скорее, скорей!

К вечеру павильон был сломан.

На другой день чем свет подали карету. Мы сели вдвоем с князем и взяли с собой обернутый в черное сукно ящик.

– В монастырь! – сказал князь.

Там, в усыпальнице князей Заборовских, зарыли мы ящик с костями, а на другой день слушали заупокойную обедню и панихиду *о упокоении души рабы божией княгини Варвары*.

Через неделю князь Данило Борисыч уехал в Петербург. Больше мы с ним и не видались. Через три года он скончался. В духовном завещании не забыл ни меня, ни Прокофьича.

Молва о таинственной работе нашей и о сломке павильона быстро разошлась по народу. Толковали, что князь в «Розовом павильоне» нашел целый ящик золота. Чтоб поддержать этот слух, он сам после рассказывал своим знакомым, что Прокофьич открыл ему тайник, где князем Алексеем Юрьичем заложены были некоторые родовые драгоценности. Мы с Прокофьичем ту же сказку рассказывали. Так все и уверились.

II

Прокофьич

– Да, батюшка Сергей Андреич, – говорил мне однажды Прокофьич, – в старину-то живали не по-нынешнему. В старину – коли барин, так и живи барином, а нынче что? Измельчало все, измалодушествовалось, важности дворянской не стало. Последние годы мир стоит. Скоро и свету конец.

Совсем, сударь, другой свет ноне стал. Посмотришь-посмотришь, да иной раз согресишь и поропщешь: зачем, дескать, господи, зажился я у тебя на здешнем свете? Давно бы тебе пора велеть старым моим костям идти на вечный покой, не глядели бы мои глазыньки на годы новые... А все-таки, батюшка Сергей Андреич, мил вольный свет, хоть и подумаешь этак, а помирать не хочется.

А уж так измельчало, так измельчало все, что и сказать невозможно. У барина, например, не одна тысяча душ, а во дворе каких-нибудь десять-пятнадцать человек – и дворней-то нельзя назвать. Псарня малая, ни музыкантов, ни песенников, а уж насчет барских барынь, шутов, карликов, арапов, скороходов, немых, калмыков – так, я думаю, теперь ни у одного барина и в заводе нет; все стали ровно мелкопоместные. Я так полагаю, сударь, что теперь вряд ли где можно сыскать кучера, чтоб сумел карету цугом заложить. Все на

парочках – ровно мелкого рангу, аль купцы какие... А ведь и в законе написано, что столбовому барину шестериком ездить следует. Да чего уж тут шестериком? – до такой срамоты дошли, что и сказать нельзя: заложат куцу лошаденку в каку-то чухонску одноколку, сядет лакей с барином рядом – сам руки крестом, а барину вожжи в руки. Смотреть даже скверно... Вот до какого унижения дошли!.. И хоть бы неволя нудила, ну, делать нечего, – так ведь нет: сами захотели... Просто, сударь, можно сказать – никакого благородства не стало, один бог знает, что это значит такое. До чего ведь иные дворяне дошли? Торговать пустились, на купчихах поженились, конторские книги сами ведут! Ну, сами вы умный человек, посудите ради Христа – дворянское ли это дело?.. Да хоть бы богатство от того какое получили; и того нет – все профуфынились, всяк должен век, а платежу нет как нет... Эх, встали бы дедушки да прадедушки, царство им небесное!..

Уж свели бы любезных внучков на конюшню, да, по старому заведению, такую бы ременную масленицу в спину-то им засыпали, что забыли бы после того дурь-то на себя накидывать.

Хоть бы нашего князя Данилу Борисыча взять! Что ни говорите, беден он, беден, а все ж не одна тысяча душ у него найдется – стало быть, барин настоящий. А похож ли хоть маненько на барина-то? Ну, сами вы скажите – похож ли?.. В Москве в каком-то нивирситете обучался, с портными да

с сапожниками там на одной скамье, слышь, сидел, – товарищем ихним звался. Ну, возможно ль сапожнику с князем в товарищах быть?.. Что же вышло? Сапожников да всяких других разночинцев не облагородил, а сам вокруг них холопства набрался. Хотя бы вот тогда приезжал он с вами в свою вотчину – что делал? Чем бы на охоту съездить, аль банкет сделать, бал, гулянку какую, – по мужичьим избам на посиделки почал таскаться, с парнями да с девками мужицкие игры играть; стариков да старух сказки заставлял рассказывать да песни петь, а сам на бумагу их записывал... Княжеское ли это дело?.. Старые книги да образа за большие деньги стал покупать. Кто ни скажет ему: вот, мол, ваше сиятельство, в такой-то деревне у такого-то мужика есть редкостная книга, – глазенки у него так и загорятся, так и забегают. В полночь ли, за полночь ли – лошадей!.. И поскачет, сломя голову, верст за тридцать либо за сорок к мужику за книгой... Курганы почнет копать, сам с мужиками в земле роется, черепки там попадутся аль жеребейки какие, он их в хлопчату бумагу ровно драгоценные камни, да в ящики, да в Питер. Не видали, знать, там этакой дряни!.. Увидал раз нищего слепца, стоит слепец на базаре, Лазаря поет. Батюшки светы!.. Наш князь Данила Борисыч так и взбеленился, берет слепца за руки, сажает с собой в карету; привез домой, прямо его в кабинет, усадил оборванца на бархатных креслах, водки ему, вина, обедать со своего стола, да и заставил стихеры распевать. Тот обрадовался да дурацкое свое горло

и распустил, орет себе, как бурлак какой, а князь Данила Борисыч все на бумагу да на бумагу... Ну хорошее ли это, сударь, дело?.. Ведь грязью играть – только руки марать, дело это не княжеское... Три дня тот нищий у нас выжил, пил, ел с княжого стола, на пуховой постели, собака, дрыхнул, а как все стихеры перепел, князь ему двадцать рублей деньгами, одежды всякой, харчей, повозку велел заложить да отвезти до села, где он в кельенке при церкви живет. А сам-от после носится со стихерами: «золото, говорит, неоцененное сокровище!» Хорошо сокровище, нечего сказать! Просто сказать, ума лишился, и все тут.

Нет, сударь, в стары годы жили не так. В стары годы господа держали себя истинно по-барски, такую дрянь, как нищий слепец, на версту к себе не допускали. Знай, дескать, сверчок свой шесток. Компанию с ровней водили, другой хоть и шляхетного роду, да не богат, так его разве только из милости в «знакомцы» принимали, чтоб над ним когда потешиться, аль чтобы в доме было полуднее. И должен был тот «знакомец» ходить по струнке, а чуть проштрафился, шелепами его на конюшне... Да иначе и не следует: как бы на горох не мороз, он бы через тын перерос. Так вот, сударь, как в стары-то годы живали! А теперь что! Тьфу!

Хоть бы, например, при князе Алексее Юрьиче здесь в Заборье было!.. Подлинно, не жизнь, а рай пресветлый. Богатство-то, сударь, какое, изобилие-то какое было! Одного столового серебра сто двадцать пудов, в подвале бочонки с

целковыми стояли, а медные деньги, что горох, в сусеки ссыпали: нарочно такие сусеки в подвалах были наделаны. Музыкантов два хора, на псарне не одна тысяча собак, на конюшне пятьсот лошадей верховых да двести езжалых; шутов да юродивых десятка полтора при доме бывало, oprичь немых арапов да карликов. Шляхетного рода «знакомцев» из мелкопоместных, человек по сорока и больше проживало. Мужики ли, бывало, у кого разбегутся, деревню ль у кого судом оттягают, пропъется ли кто из помещиков, промотается ли, всяк, бывало, в Заборье на княжие харчи. Опять барыни-приживалки, барышни: этих тоже штук по тридцати водилось. Уж именно дом был, как полная чаша. А сам-от князь какой был барин! Такой, сударь, важности, что теперь, весь свет исходи, днем с огнем не сыщешь... И все-то прошло, все-то миновалось! Да, сударь, стары годы были годы золотые, были они, сударь, да и прошли, прошли и не воротятся. Красно лето два раза в году не живет!

А куда какво давно тому времени, как в Заборье-то было житье-бытье раздольное да привольное! Мне теперь десятый десяток идет, а в ту пору и тридцати годков не было, как батюшки-то нашего, князя Алексея Юрьича, не стало. А скончаться изволил лет семидесяти без малого... Да я уж что за жизнь застал? Тогда уж князь-от в немилости был, в опале то есть, а вот как, бывало, родитель мой – дай ему бог царство небесное, а вам добро здоровье – порасскажет про те годы, как князь-от Алексей Юрьич в настоящей своей поре был и

в Питере «во-время» находился, а в Заборье бывал только наездами, так вот тогда точно что жизнь была золотая. И умирать не надо было.

А батюшку моего покойника князь Алексей Юрьич изволил жаловать своей княжею милостью. Перво-наперво он у него в доезжачих находился, а потом в стремянные попал, да проштрафился однажды: русака в остров упустил. Князь Алексей Юрьич за то на него разгневался и тут же, на поле, изволил его из своих рук выпороть, да уж так распалился, что и на конюшне еще велел пятьсот кошек ему влепить и даже согнал его со своих княжих очей: велел управляющим быть в низовой вотчине... Однако ж после того годов этак через пяток помиловал – гнев и опалу изволил снять.

Вот как то дело случилось. Князь Алексей Юрьич на охоту по первой пороше поехал. Время стояло холодное, на Волге уж закраины, только самые еще что называется стекольные, значит, лед пятаком можно еще пробить. Ста полтора русаков заполевали, за монастырем, на угоре, привал сделали. А гора в том месте высокая, что стена над Волгой-то стоймя стоит. Князь Алексей Юрьич весел был, радостен, потешаться изволил. Сел на венце горы верхом на бочке с наливкой, сам целый ковшик изволил выкушать, а потом всех тут бывших из своих рук поил, да, разгулявшись, и велел доезжачим да стремянным резака делать. А чтоб сделать резака, надо под гору торчмя головой лететь, на яру закраину головой прошибить да потом из-подо льда и вынырнуть. Любимая

была потеха у покойника, дай бог ему царство небесное! На ту пору никто не сумел хорошо резака сделать: иной сдуру, как пень, в реку хлопнется, – а это уж не то, это называется паля, и за то пятнадцать кошек в спину, чтоб она свое место знала и вперед головы не совалась. Другой, не долетевши до льда, на горе себе шею свернет, а три дурака хоть и справили резака, да вынырнуть не сумели: пошли осетров караулить. Осерчал князь Алексей Юрьич: «Всех, закричал, заперю до смерти!» За мелкопоместное шляхетство принялся, им приказал резака справлять. Те еще хуже: один и прошиб было головой лед, да тоже к осетрам в гости поехал.

Заплакал индо князь Алексей Юрьич, навзрыд зарыдал: таково ему стало горько и прискорбно.

– Видно, говорит, последние мои дни настают, что нет у меня молодца, чтоб резака сумел справиться!.. Все равно бабы!.. А где, говорит, Яшка Безухой?.. Вот удалец-от: по три резака, бывало, сряду дельвал.

А это он про батюшку-покойника изволил вспомянуть. А батюшка-покойник и в самом деле безухий был. Лево-то ухо ему медведь отгрыз: раз как-то князь Алексей Юрьич изволил приказать батюшке с любимым своим медведем побороться, медведь, видно, осерчал да ухо батюшке и прочь, а батюшка-покойник не вытерпел да охотничьим ножом Мишку под лопатку и пырнул. У того дух вон. Так за то, что осмелился без спросу княжего медведя положить, князь Алексей Юрьич приказал для памяти батюшке-покойнику и другое

ухо отрезать и прозвал его потом Яшкой Безухим. А батюшку-покойника вовсе не Яковом, а Прокофьем звали.

– Где, кричит, Яшка Безухой. Подавай сюда Яшку Безухого!

Доложили, что Яшка Безухой под гневом находится пятый год, низовой вотчиной управляет.

– Давай сюда Яшку Безухого – он у меня на резаке не прежится, как вы, шельмецы.

Поскакали за покойным батюшкой. Ну, Саратов – место не ближнее: когда батюшку оттуда ко княжескому двору привезли, лед-от такой уж стал, что будь у покойника свинцовая голова, так и тут бы ему резака не сделать. Допустили батюшку до светлых очей князя Алексея Юрьича.

– Здравствуй, говорит, Яшка Безухой!

Батюшка в ноги; князь его пожаловал, велел встать.

– Что, говорит, резака завтра с того угора вальнешь?

– Можем постараться, батюшка, ваше сиятельство, надеючись на милость Божию да на ваше княжеское счастье! – отвечал покойник родитель мой.

– Ладно, говорит, ступай на псарный двор. Жалую тебя сворой муругих.

А к утру вьюга. Да так поля засыпала, что охота совсем порешилась. Остался резак за батюшкой до другого ледостава. Зато уж какого же резака на другую-то осень он справил... И за такую службу его и за великое раденье жаловал его князь Алексей Юрьич своей княжеской милостью: изволил к руч-

ке допустить, при своей княжой охоте приказал находиться, красный чекмень с позументом пожаловал, на барской барыне женил, и сказано было ему быть в первых псарях. И до самой кончины князя Алексея Юрьича батюшка у него в самых ближних людях и в большой милости находился. А как я родился, князь Алексей Юрьич сам изволил меня от святой купели воспринимать, а восприемницей была Степанида-птичница, гайдука Самойлы жена. Тоже из барских барынь.

Подрос я, сударь, у батюшки на псарне, а как приехал князь сюда совсем на житье и мне шестнадцать лет исполнилось, изволил он и меня своей высокой милостью взыскать. На само светло Христово воскресенье, после заутрени, сказал свое жалованье: велел в комнатных казачках при себе быть, есть с княжьего стола, а матушке-покойнице давать за меня месячину мукой, крупой, маслом, да по три алтына в месяц деньгами. В грамоту с прочими казачками меня отдали, драли, сударь, немилосердно, однако ж дьячок Пафнутий до своего дошел: грамота всем далась, цифирному делу даже маленько навыкли. А когда исполнилось мне двадцать годов, стали нас распределять по наукам: кого в музыканты, кого в часовщики, кого в живописцы, кого французскому учиться, чтоб с молодым князем с Борисом Алексеевичем в Париж отправить. Меня же, за многую службу матушки-покойницы и по ее великой слезной просьбе, по собачьей части князь определить изволил.

Было, сударь, мне лет двадцать с небольшим, как сподобил и меня господь перед светлыми очами князя Алексея Юрьича малую службишку справить и тем его княжеского жалованья и милости удостоиться. Верстах в двадцати от Заборья, там, за Ундольским бором, сельцо Крутихино есть. Было оно в те поры отставного капрала Солоницына: за увечьем и ранами был тот капрал от службы уволен и жил во своем Крутихине с молодой женой... А вывез он ее из Литвы, аль из Польши, а может статья, из хохлов, доподлинно не знаю, – только красавица была писаная, теперь, думать надо, изойти весь белый свет, такой не найдешь. Князю Алексею Юрьичу Солоничиха приглянулась: сначала хотел ее чествою в Заборье сманить, однако ж она не поддалась, а муж взъерошился, воует: «Либо, говорит, матушке государыне подам челобитную, либо, говорит, самого князя зарублю». Выехали однажды по лету мы на красного зверя в Ундольский бор, с десятков лисиц затравили, привал возле Крутихина сделали. Выложили перед князем Алексеем Юрьичем из тороков зверя травленного, стоим, ждем слова ласкового.

А князь Алексей Юрьич кручинен сидит, не смотрит на красного зверя травленного, смотрит на сельцо Крутихино, да так, кажется, глазами и хочет съесть его.

– Что это за лисы, говорит, что это за красный зверь? Вот как бы кто мне затравил лисицу крутихинскую, тому человеку я и не знай бы что дал.

Гикнул я да в Крутихино. А там барынька на огороде в ма-

линничке похаживает, ягодками забавляется. Схватил я красотку поперек живота, перекинул за седло да назад. Прискакал да князю Алексею Юрьичу к ногам лисичку и положил. «Потешайтесь, мол, ваше сиятельство, а мы от службы не прочь». Глядим, скачет капрал; чуть-чуть на самого князя не наскакал... Подлинно вам доложить не могу, как дело было, а только капрала не стало, и литвяночка стала в Заборье во флигеле жить. Лет через пять постриглась, игуменьей в Зимогорском монастыре была, и князь Алексей Юрьич очень украсил ей обитель, каменну церковь соорудил, земли купил, вклады большие пожаловал.

Добрая была барынька, дай ей бог царство небесное, милостивая: как жила в Заборье, завсегда умела утолить сердце князя Алексея Юрьича. Только что он на своих ли холопей, на мелкопоместное ли шляхетство распалится, завсегда, бывало, уймет его. Много за нее бога молили.

За эту самую службу изволил меня князь Алексей Юрьич беспримерно пожаловать. «Коли верен раб, так и князь ему рад», – при всех сказать изволил и велел мне быть при своем князем стремени. Чекмень малиновый с позументами изволил пожаловать, полтора рубля деньгами, чарку серебряную, три полушубка мерлушчатых, лисью шубу, да кусок сукна немецкого. А сверх того соизволил женить меня на барской барыне. Однако ж матушка-покойница князя укланяла: за молодостью лет в брачное дело мне вступить было отказано. Милость князя была ко мне великая: заместо женитьбы с

птичного двора девку Акульку в наложницы мне пожаловал. Да ведь не то, чтоб я просил о том, нет, сударь, сам пожаловать изволил, без просьбы... После того, года через два, меня на певиче женили, на родной сестре Василисы Бурылихи, что в Заборье надо всеми порядок держала. Презлющая баба была эта Василиса, а с рожки такая, что как во сне, бывало, приснится, вскочишь да перекрестишься. А у князя Алексея Юрьича в великой была милости, для того, что по девичьим ладно дела вела. Мне с женой из-за нее куда как хорошо было жить.

III

На ярмонке

«Отселе, – сказано в записках Валягина, – заношу в сию тетрадь со слов Анисима Прокофьева и по рассказам других стариков».

В старые годы бывала в Заборье ярмонка, приходилась она в летнюю пору. Съезжались на ту ярмонку люди торговые со всякими товарами со всего царства русского, а также из других краев, всякие иноземцы бывали, и всем был вольный торг на две недели. Сказывали купчины, что наша Заборская ярмонка малым чем Макарьевской уступала, а украинских и иных много лучше была. Теперь совсем порешилась.

Была она на земле монастырской, оттого все сборы денежные: таможенный, привальный и отвальный, пятно конское и австерские, похомутный и весчая пошлина сполна шли на монастырь. Монастырскую землю заборские дачи обошли во все стороны, оттого ярмонка в руках князя Алексея Юрьича состояла. Для порядку наезжали из Зимогорска комиссары с драгунами: «для дел набережных» и «для дел объезжих», да асессоры провинциальные, – исправников тогда и в духах не бывало, – однакож вся сила была в князе Алексее Юрьиче.

Наступит девята пятница, начало ярмонке. С раннего утра

в Заборье все закишит, ровно в муравейнике: в парад зачнут собираться, пудриться, одеваться, коней седлать, кареты закладывать. И когда все по чину устроится, пойдет к князю старший дворецкий с докладом, – а бывал в том чине не из холопей, а из мелкопоместного шляхетства. Доложит он, что время на ярмонку ехать, и велит князь в ряды строиться. Доложат, что построились, выйдет на крыльцо во всем наряде: в алом бархатном кафтане, шитом золотом, камзоле с серебряными блестками, в парике по плечам, в треугольной шляпе, в красной кавалерии и при шпаге. За ним с сотню других больших господ, «знакомцев» и мелкопоместного шляхетства и недорослей – все в шелковых кафтанах и париках. Потом выйдет на крыльцо княгиня Марфа Петровна – в помпадуре из серебряной парчи с алыми разводами, волосы кверху зачесаны и напудрены, наверху кораблик, а шея, грудь и голова так и горят камнями самоцветными. За ней барыни – все в робронах, в пудре, приживалки в княгининых платьях, комнатные девки – в золотых шугайчиках, в летниках и собольих шапочках.

– Трогай! – крикнет, севши в карету, князь Алексей Юрьич, и поезд поедет к монастырю.

Впереди пятьдесят вершников, на гнедых лошадях, все в суконных кармазинных чекменях, штаны голубые гарнитуровые, пояса серебряные, штиблеты желтые, на головах парики пудренные, шляпы круглые с зелеными перьями.

За вершниками охота поедет, только без собак. Псаря и

доезжачие regimentами: первый regiment на вороных конях в кармазинных чекменях, другой regiment на рыжих конях в зеленых чекменях, третий – на серых лошадях в голубых чекменях. А чекмени у всех суконные, через плечо шелковые перевязи, у одних белые, шиты золотом, у других пюсовые, шиты серебром. За ними стремянные на гнедых конях в чекменях малиновых, в желтых шапках с красными перьями, через плечо золотая перевязь, на ней серебряный рог.

За охотой мелкопоместное шляхетство и «знакомцы» верхами, кто в мундире, кто в шелковом французском кафтане, все в пудренных париках, а лошади подо всеми с княжей конюшни. За шляхетством, мало отступя, сам князь Алексей Юрьич в открытой золотой карете, цугом, лошади белые, а хвосты да гривы черные, – нарочно чернили. За каретой четыре гайдука на запятках да шестеро пешком, все в зеленых бархатных кафтанах, а кафтаны вокруг шиты золотом, камзолы алого сукна, рукава алого бархату с кондырками малыми, золотой бахромой обшитыми. Шапки на гайдуках пюсового бархату с золотыми шнурами и с белыми перьями. И у каждого гайдука через плечо цепь серебряная. За каретой арапы пешком в красных юбках, с золотыми поясами, на шее у каждого серебряный ошейник, на голове красна шапка. Потом другая золотая карета, тоже цугом, в ней княгиня Марфа Петровна, вокруг ее кареты скороходы, на них юбки красного золотного штофа, а прочее платье белого штофа серебряного, сами в париках напудренных больших, без шапок.

За княгининой каретой карет сорок простых, не золоченых, каждая заложена в четыре лошади без скороходов, а только по два лакея в желтых кафтанах на запятках; в тех каретах большие господа с женами и дочерьми, барыни из мелкопоместного шляхетства и вольные дворянки, что при княжьем дворе проживали. Потом, на княжих лошадях, что поплоче, видимо-невидимо мелкопоместного шляхетства.

Приедут к монастырю, у святых ворот из карет выйдут и в церковь пешком пойдут. А как службу божественную отпоют, с крестным ходом кругом монастыря отправятся, да, обошедши монастырь, на ярмонку, ради освящения флагов. Как станут воду святить, пальба из пушек пойдет и музыка. Тут князь Алексей Юрьич к архимандриту ярмоночный флаг поднесет, тот святой водой его покропит, а князь на столб своими руками вздернет. Пушки запалят, музыка играет, трубы, роги раздадутся, а народ во все горло: ура! и шапки кверху. Это значит, ярмонка началась, и с того часу всем купцам торг повольный, а смей кто допрежь урочного часу лавку открыть, заперет князь Алексей Юрьич того до полусмерти и товар в Волгу велит покидать либо среди ярмонки сожжет его.

К архимандриту обедать! А на поле возле ярмонки столы накроют, бочки с вином ради холопей и для черного народу выкатят. И тут не одна тысяча людей на княжой кошт ест, пьет, проклажается до поздней ночи. Всем один приказ: «пей из ковша, а мера душа». Редкий год человек двадцать, быва-

ло, не обошьется. А пьяных подбирать было не велено, а коли кто на пьяного наткнулся, перешагни через него, а тронуть пальцем не смей.

На другой день в Заборье пир горой. Соберутся большие господа и мелкопоместные, торговые люди и приказные, всего человек, может, с тысячу, иной год и больше. У князя Алексея Юрьича таков был обычай: кто ни пришел, не спрашивают, чей да откуда, а садись да пей, а коли есть хочешь, пожалуй, и ешь, добра припасено вдосталь... На поляне, позадь дому, столы поставлены, бочки выкачены. Музыка, песни, пальба, гульба день-деньской стоном стоят. Вечером потешные огни да бочки смоляные, хороводы в саду.

Со всей волости баб да девок нагонят... Тут дело известное: что в поле горох да репка, то в мире баба да девка, значит, тут без греха невозможно, потому что всяка жива душа калачика хочет. Потешные-то огни как потухнут, князь Алексей Юрьич с большими господами в павильон, а мелкопоместное шляхетство в садочке, на лужочке да по овражкам всю ночь до утра прокуражатся.

Да так всю ярмонку и прогуляют. Каждый божий день народу видимо-невидимо. И все пьяно. Крик, гам, песни, драка – дым коромыслом.

А на ярмонку ради порядку князь Алексей Юрьич каждый день изволил сам выезжать. Чуть кого в чем заметит, тут ему и расправа. И суд его был всем приятен, для того, что скоро кончался; туг же, бывало, на месте и разбор и взысканье, в

дальний ящик не любил откладывать: все бы у него живой рукой шло. Чернил да бумаги беда как не жаловал. Зато все торговые люди, что на Заборскую ярмонку съезжались, как отца родного любили его, благодетелем и милостивцем звали. И они до бумаги-то не больно охочи. До челобитных ли да до приказных дел купцу на ярмонке, когда у всякого каждый час дорог?

Не любил тех князь Алексей Юрьич, кто помимо его по судам просил. Призовет, бывало, такого, шляхетного ли роду, купчину ли, мужика ли, ему все едино: перво-наперво обругает, потом из своих рук побить изволит, а после того кошки, плети аль каша березовая, смотря по чину и по званию. А после бани тот человек должен идти к князю благодарить за науку.

– То-то и есть, – скажет тут князь, – ты как гусь: летаешь высоко, а садиться не умеешь, вот и дождался. Разве нет тебе моего суда, что вздумал по приказным ходить? Смотри же, вперед будь умнее...

И ничего, еще ручку пожалует поцеловать и велит того человека напоить, накормить до отвалу.

Купцам на ярмонке такой был приказ: с богатого сколь хочешь бери, обманывай, обмеривай, обвешивай его, сколько душе угодно; бедного обидеть не моги. Раз позвал князь к себе в Заборье одного московского купчину обедать: купец богатеющий, каждый год привозил на ярмонку панского и суровского товару на многие тысячи: парчи, дородоры, гарни-

туры, газетты, атласы, левантны, ну и всякыя другыя материи. А товар-от все прочный был – лубок лубком; в нынешне время таких материй и не делают, все стало щепетильнее, все измельчало, оттого и самую одежду потоньше стали носить. Пообедавши, говорит князь Алексей Юрьич купчине:

– Ты почем, Трифон Егорыч, алый левантин продаешь?

– По гривне, ваше сиятельство, продаем и по четыре алтына, смотря по доброте.

– А была у тебя вчера в лавке попадья из Большого Врагу?

– Не могу знать, ваше сиятельство, народу в день перебивает много. Всех запомнить невозможно.

– Попадья у тебя аршин алого левантину на головку покупала. Почем ты ей продал?

– Не помню, ваше сиятельство, хоть околеть на этом месте, не помню. Да еще может статься, не сам я и товар-от ей отпускал, из молодцов кто-нибудь.

– Ну ладно, – сказал князь Алексей Юрьич да и кликнул вершника. А вершников с десяток завсегда у крыльца на конях стояло для посылок.

Вошел вершник. Купчина ни жив ни мертв: думает – на конюшню. Говорит вершнику князь Алексей Юрьич:

– Проводи ты вот этого купчину до ярмонки, там он даст тебе кусок алого левантину самого лучшего. Возьми ты этот левантин и духом отвези его в Большой Враг, отдай отца Дмитрия попадье и скажи ей: купец, мол, московский Трифон Егорыч Чуркин кланяться тебе, матушка, велел и при-

слал, дескать, кусок левантину в подарок за то-де, что вчера он с тебя за аршин такого же левантина непомерную цену взял. А ты, Трифон Егорыч, за молодцами-то приглядывай, чтоб они бедных людей не обижали, а то ведь я по-свойски расправлюсь. Пороть тебя не стану, а в сидельцы к тебе пойду. Так смотри же, держи у меня ухо остро.

Недели не прошло, спроведал князь про Чуркина, однодворца какого-то канифасом обмерил. Только услышал про это, ту ж минуту на конь, прискакал на ярмонку, прямо к Чуркину в лавку.

– А ты, говорит, Трифон Егорыч, приказ мой позабыл? Экая, братец мой, у тебя память-то короткая стала! Нечего делать, надо мне свое княжое слово выполнить, надо к тебе в сидельцы идти. Эй вы, аршинники, вон из лавки все до единого!

Чуркин с молодцами из лавки вон, а князь Алексей Юрьич, ставши за прилавок да взявши в руки аршин, крикнул на всю ярмонку зычным голосом:

– Господа честные, покупатели дорогие! К нам в лавку покорно просим, у нас всякого товару припасено вдоволь, есть атласы, канифасы, всякие дамские припасы, чулки, платки, батисты!.. Продаем без обмеру, без обвесу, безо всякого обману. Сдачи не даем и сами мелких денег не берем. Отпускаем товар за свою цену за наличные деньги, у кого денег нет, тому и в долг можем поверить: заплатишь – спасибо, не заплатишь – бог с тобой.

Навалила в лавку чуть не целая ярмонка. А князь за прилавком аршином работает: пять аршин чего ни на есть отмеряет да куска два-три почтения сделает. Таким манером часа через три у Чуркина весь товар распродал, только наличной выручки оказалось число невеликое.

– Вот тебе, – сказал князь Алексей Юрьич Чуркину, – выручка, а остальной товар в долг продан. Ищи, хлопочи, собирай долги, это уж твоя забота, а мое дело сторона. Да ты у меня смотри, попадью с однодворцем не забывай. Поедем теперь в Заборье обедать; оно бы, по-настоящему, с тебя магарычи-то следовали, ну, да так и быть: пожалуй, уж я накормлю. Садись в карету.

Замялся Чуркин, не лезет в карету, стоит, дрожит, как зачумленный.

– Не бойсь, хозяин, садись, – говорит ему князь Алексей Юрьич. – Ты, чай, думаешь, драть тебя стану, не бойся: сказано, не стану пороть, значит, и не стану. Захотел бы плетью поучить – и здесь бы спину-то вздул. Садись же, хозяин!

Сел Чуркин с князем в карету, поехал в Заборье обедать. А за обедом Чуркина на первое место посадили, и князь Алексей Юрьич сам ему прислуживал: за стулом у него с тарелкой стоял, *хозяином* все время называл: «Я, говорит, у Трифона Егорыча в услужении».

А пороть не порол. На прощанье еще жалованьем удостоил: от любимой борзой суки Прозерпинки кобелька да сушонку на племя подарил.

С той поры Чуркин на ярмонку ни ногой.

А кто с князем Алексеем Юрьичем смело да умно поступал, того любил. Раз один купчина прогневал его: отобедавши в Заборье, не пожелал с барскими барынями да с деревенскими девками в саду повеселиться, спешным делом отговаривался, получение-де предвидится от сибирских купцов. Соснувши маленько после обеда, узнал князь, что купчина его приказу сделался ослушен: тихонько на ярмонку съехал.

– Ну, говорит, черт с ним: была бы честь предложена, от убытка бог избавит. Пороть не стану, а до морды доберусь – не пеняй.

И попадись он князю на другой день за балаганами, а тут песок сыпучий, за песком озеро, дно ровное да покатое, от берега мелко, а на середине дна не достанешь; зато ни ям, ни уступов нет ни единого. Завидевши купчину, князь остановился, пальцем манит его к себе: поди-ка, мол, сюда. Купчина смекнул, зачем зовет, нейдет, да, стоя саженьях в двадцати от князя, говорит ему:

– Нет, ваше сиятельство, ты сам ко мне поди, а я не пойду для того, что ни зуботрещин твоих, ни кошек, ни плетей не желаю.

– Ах ты, аршинник этакой! – закричал князь Алексей Юрьич да к нему.

А купчина – парень не промах, задал к озеру тягача, а песок тут сыпучий, ноги так и вязнут. Князь Алексей Юрьич

вдогонку, распалился весь, запыхался, все бежит, сердце-то уж очень взяло его. Вязнут ноги у купчины, вязнут и у князя. Вот купчина догадался: оглянулся назад, видит, князь шагах во ста от него. «Эх, думает, успею»; сел, сапоги долой, да босиком дальше пустился: бежать-то ему так вольготнее стало. Видит князь, купчина умно поступил, сам сел, тоже сапоги долой, да босиком дальше. Купчина к озеру, князь тоже. Забрел купчина по горло, а князь по грудь, остановился да перстиком купчину и манит.

– Подь, говорит, ко мне, разделаться с тобой хочу.

А купчина в ответ тоже пальцем манит да свое говорит:

– Нет, ваше сиятельство, ты ко мне подь, а уж я не пойду.

– Да ведь ты, подлец, утопишь?

– Там уж, что бог даст, а к тебе не пойду.

Перекорялись-перекорялись, а друг к дружке не пошли. Хоть время стояло и жаркое, а оба, стоя в воде, продрогли.

– Ну, – говорит князь, – люблю молодца за обычай, едем в Заборье обедать, зло твое я забыл.

– Врешь, ваше сиятельство, – говорит купчина, – обманешь, выпорешь.

– Пальцем не трону, – отвечал князь Алексей Юрьич: – ей-богу, пальцем не трону.

– Обманешь, ваше сиятельство.

– Ей-богу, не обману, право, не обману.

– А ну перекрестись!

И стал князь, стоя в воде, креститься и всеми святыми

себя заклинать, что никакого дурна над купчиной не учинит. Дал купчина веру, поехал в Заборье.

Не то чтобы выдрать – приятелем сделал его, дом каменный в Москве подарил. Бывало, что есть – вместе, чего нет – пополам. Двух дочерей замуж повыдал; в посаженных отцах у них был, сына вывел в чины; после в Зимогорске вице-губернатором был, от соли да от вина страх как нажился...

– А ведь утопил бы ты меня, Конон Фаддеич, как бы я к тебе тогда подошел? – скажет, бывало, князь.

– А как знать, чего не знать, – отвечает купчина: – что бы бог указал, то бы я над тобой, ваше сиятельство, и сделал.

И захохочут оба, да после того и почнут целоваться.

И всегда и во всем так бывало: кто удалую штуку удерет, либо тыкнет князю прямо в нос, не боюсь-де тебя, того жаловал и в чести держал. Да вот какой случай был.

В летнюю пору после обеда садился, бывало, он в кресла подремать маленько. Кресла ставили на балконе, задние ножки в комнате, а передние на балконе, так на пороге и дремлет. И тогда по всему Заборью и на Волге на всех судах никто пикнуть не смей, не то на конюшню. Флаг над домом особый выкидывали, знали бы все, что князь Алексей Юрьич почивать изволит.

Дремлет он этак раз, а барчонок из мелкопоместных «знакомцев», что из милости на кухне проживал, тихонько возле дома пробирается. А в нижнем жилье, под самым тем балконом, жили барышни-приживалки, вольные дворянки, и де-

ревни свои у них были, да плохонькие, оттого в Заборье на княжеских харчах и проживали. Барчонок под окна. Говорить не смеет, а турысы на колесах барышням подпустить охота, стал руками маячить, а сам ни гугу. Барышням невтерпеж: похохотать охота, да гроза наверху, не смеют. Машут барчонок платочками: уйди, дескать, пострел, до греха. А барчонок маячил-маячил, да как во все горло заголосит: *«Не одна-то во поле дороженька»*. Заорал да и драла. Вершники, что у крыльца стояли, его не заметили, сами тоже вздремнули; час был полуденный. Так барчонок и скрылся.

Пробудился князь. Грозен и мрачен, руки у него так и дергает.

– Кто «Дороженьку» пел? – спрашивает.

Побежали сломя голову во все стороны. Ищут.

А барчонок себе на уме, семью собаками его не сыщешь. Улегся на сеннике, спит тоже будто. Кроме барышень никто его не приметил, а те, известное дело, не выдадут.

– Кто «Дороженьку» пел? – кричит князь Алексей Юрьич. Бегают холопы, не могут найти.

– Кто «Дороженьку» пел? – кричит князь. На крыльцо вышел, арапник в руке.

Не знают, что доложить, бегают, рыщут, дознаться не могут.

– Кто «Дороженьку» пел? – на все село кричит князь Алексей Юрьич. – Сейчас передо мною поставить, не то всех запорю!

Не могут найти. Рычит князь, словно медведь на рогатине. Ушел в дом, зеркала звенят, столы трещат.

Старший дворецкий и холопы все кланяться стали Ваське-песеннику: «возьми на себя, виноватого сыскать не можем».

Васька себе на уме, уперся. «Спина-то, говорит, моя, не ваша, да еще чего доброго, пожалуй, и в пруд угодить». Не желает.

Стали ему кучиться со слезами: «дворецкий, мол, тебя выручит, а на всякий случай вот тебе десять Рублев деньгами». А десять рублей в старые годы деньги были большие.

Почесал в затылке песенник: и спины жаль, и с деньгами расстаться неохота. «Ну, говорит, так и быть, идем. Только смотри же, коль не из своих рук станет пороть, так вы, черти, полегче».

А тем временем князь распалился без меры.

– Всему холопству, кричит, по тысяче кошек, все шляхетство плетью задеру. Да спросить у барышень, они должны знать... Не скажут, юбки подыму, розгачами угощу!

Страх смертный. Пикнуть не смеет никто, дышать боятся.

– Кошек! – зарычал. Зычный голос по Заборью раздался, и всяка жива душа затрепетала.

– Ведут, ведут, – кричат комнатные казачки, завидев дворецкого, а за ним гайдуков: волочили они по земле по рукам по ногам связанного Ваську-песенника.

Сел князь на софу суд и расправу чинить. Подвели Ваську.

Сами ни живы, ни мертвы.

– Ты «Дороженьку» пел? – спросил у песенника князь Алексей Юрьич.

– Виноват, ваше сиятельство, – отвечал Васька-песенник.

Замолк князь. Помолчал маленько и молвил:

– Славный голос у тебя... Десять рублей ему да кафтан с позументом!

IV

Именины

А именины справлял князь на пятый день Покрова. Пирьы бывали великие; недели на две либо на три все окружное шляхетство съезжалось в Заборье, губернатор из Зимогорска, воеводы провинциальные, генерал, что с драгунскими полками в Жулебине стоял, много и других чиновных. Из Москвы наезжали, иной раз из Питера. Всякому лестно было князя Алексея Юрьича с днем ангела поздравить.

Каждому своя комната, кому побольше, кому поменьше: неслужащему шляхетству, смотря по роду; чиновным, глядя по чину. Губернатору флигель особый, драгунскому генералу с воеводами другой, по прочим флигелям большие господа: кому три горницы, кому две, кому одна, а где по два, по три гостя в одной, глядя, кто каков родом. А наезжее мелкопоместное шляхетство и приказных по крестьянским дворам разводили, а которых в застольную, в ткацкую, в столярную. Там и спят вповалку.

С вечера накануне именин всюнощну служат. Тут всем приказ: у службы быть неотменно. Князь сам шестопсалмие читает и синаксарь. Знал он церковный устав не хуже монастырского канонарха, к службе божией был не ленокстей, к дому господню радение имел большое. Сколько по церквам

иконостасов наделал, сколько колоколов вылил, в самом Заборье три каменные церкви соорудил.

Ужина не бывало, чтоб грехом до утра не забражничаться, обедни не проспять бы. Подавали каждому есть-пить в своем месте, а хмельного ставили число невеликое.

На другой день, после обедни, все, бывало, поздравлять пойдут. Сядет князь Алексей Юрьич во всем наряде и в кавалерии на софе, в большой гостиной, по праву руку губернатор, по левую – княгиня Марфа Петровна. Большие господа, с ангелом князя поздравивши, тоже в гостиной рассядутся: по одну сторону мужчины, по другую – женский пол. А садились по чинам и по роду.

Пиита с виршами придет – нарочно такого для праздников держали. Звали Семеном Титычем, был он из поповского рода, а стихотворному делу на Москве обучался. В первый же год, как приехал князь Алексей Юрьич на житье в Заборье, нанял его. Привезли его из Москвы вместе с карликом – тоже редкостный был человек: ростом с восьмигодового мальчишку, не больше. Жил пиита на всем на готовом, особая горница ему была, а дело только в том и состояло, чтобы к каждому торжеству вирши написать и пастораль сделать.

И каждый раз, перед делом, недели на три запирали его ради трезвости на голубятню; бывало, как только вытрезвят, так и пойдет он вирши писать да пастораль строить.

Придет Титыч в гостиную, тоже напудренный, в шелковом кафтане, почнет поздравительные вирши сказывать. Го-

сти слушают молча. А когда отчитает, подаст те вирши князю на бумаге, князь ручку даст ему поцеловать, денег пожалует и велит напоить Титыча до положения риз, только бы наблюдали, чтобы богу душу не отдал, для того, что человек был нужный, а пил без рассуждения. В старые годы пиитов было число невеликое, найти было их трудновато, оттого и берег князь Титыча. Таков был приказ: пииту беречь всякими мерами и ради потехи вреда ему не чинить.

Раз одного знакомца из благородного шляхетства так взодрал князь за Титыча, что небу стало жарко. Похрыснев Иван Тихоныч – было у него дворов тридцать своих крестьян, да разбежались, оттого и пошел на княжие харчи – с Титычем был приятель закадычный: пили, гуляли сообща. Насмотрелся Иван Тихоныч, каковы в Заборье забавы. И холопи и шляхетство так промеж себя забавлялись: кого на медведя насунут, кому подошвы медом намажут да дадут козлу лизать; козел-от лижет, а человеку щекотно, хохочет до тех пор, как глаза под лоб уйдут и дышать еле может. Насмотревшись таких потех, Иван Тихоныч подметил раз друга своего во пьяном образе лежаща и сшутил с ним шуточку, да и шутку-то не больно обидную: ежа за пазуху ему посадил. Вскочил пиита, заорал благим матом, спьяну да спросонок не может понять, что такое у него под рубахой возится да колет. Ровно угорелый на двор выбежал, «караул! режут!» – кричит. На грех сам князь туг случись; узнав причину, много смеяться изволил, а Ивана Тихоныча выпорол и целый день ежа за

пазухой носить приказал. «Ты, говорит, знай, с кем шутить: Титыч, говорит, тебе не пара: он человек ученый, а ты сви- нья». Вот как ученых людей князь почитал.

А как в день княжих именин Семен Титыч из гостиной выйдет, неважные господа и знакомцы пойдут поздравлять, также и приказный народ. Подходят по чинам, и всякому, бывало, князь Алексей Юрьич жалует ручку свою целовать. Кто поцеловал, тот на галерею, а там от водок да от закусок столы ломаются.

Чай станут подавать, но только большим господам. В ста- ры-то годы чай бывал за диковину, и пить-то его умели толь- ко большого рангу господа; мелочь не знала, как и взяться... Давали иной раз мелкопоместному шляхетству аль приказ- ного чина людям, ради потехи, позабавиться бы большим го- стям, глядя, как тот с непривычки глотку станет жечь да ро- жи корчит. Шутов, бывало, призовут, передражнить бари- на-то прикажут, чай у него отнимать, кипятком его ошпа- рить. Шуты с барином подерутся, обварят его, на пол пова- ляют да мукой обсыплют. А как назабавится князь, в шею всех и велит вытолкать.

Пьют, бывало, чай в гостиной: губернатор почнет ведомо- сти сказывать, что в курантах вычитал, аль из Питера что ему отписывали. Московские гости со своими ведомостями. Так и толкуют час-другой времени. Приезжал частенько на име- нины генерал-поручик Матвей Михайлыч Ситкин, – родня князю-то был; при дворе больше находился, к Разумовскому

бывал вхож.

– Слышно, – говорит он однажды, – про тебя, князь Алексей, что матушка-государыня хочет тебя в цесарскую землю к венгерской королеве резидентом послать.

– И до меня такие ведомости, сиятельнейший князь, доходили, – промолвил губернатор, – а когда Матвей Михайлович из самого дворца матушки-государыни подлинные ведомости привез, значит, оне вероятия достойны.

И стали все поздравлять князя Алексея Юрьича. А у него лицо так и просияло. Помолчал он и молвил:

– Не еду.

– В уме ль ты, князь, али рехнулся? – ужаснулся даже генерал-поручик, родня-то.

– Сказано – не поеду, так значит и не поеду, – молвил князь Алексей Юрьич. – Пускай меня матушка-государыня смертью казнит, пускай меня в дальни сибирски города сошлет, а в цесарскую землю я ни ногой.

А говорил он так ради того, что знал роденьку своего Матвея Михайлыча: любил генерал красным словцом речь поукрасить, любил и похвастаться перед людьми: я-де при государыне нахожусь, все великие и тайные дела до тонкости знаю.

– Да что ты, что ты? – стал он приставать к князю. – Есть ли резон человеку от фортуны отказываться?

Губернатор стал допытываться, драгунский генерал, воевода, из больших господ два-три человека. Другие не посме-

ли.

– Как же мне возможно ехать в цесарскую землю? – молвил наконец князь Алексей Юрьич. – Без меня лысый черт всех русаков здесь затравит, а об красном звере лет пять после того и помину не будет.

А лысым чертом изволил звать Ивана Сергеича Опарина. Барин был большой, по соседству с Заборьем вотчина у него в две тысячи душ была, в старые годы после князя Алексея Юрьича по всей губернии был первый человек.

– Не взыщи, князь Алексей, – подхватил Иван Сергеич, – всех перетравлю. Ты там у венгерской королевы резидируй, а я тебе мышонка не покину.

Смеяться изволил князь. И все большие господа смеялись, а в других комнатах и на галерее знакомцы, шляхетство мелкопоместное и приказные тоже на тот смех хохотали, хоть к чему тот смех – и не ведали.

– А ты лучше скажи-ка мне, честный отче, подобает ли нам вот это китайское зелье пить? Греха тут нет ли? – спросил князь Алексей Юрьич.

А это он тому же Ивану Сергеичу молвил. Звал его лысым чертом потому, что голова у него была наподобие рыбьего пузыря, а честным отче потому, что в старых уставах Опарин был сведущ. Хоть бороду и брил, а париков не надевал и табаку не курил, поставляя в том грех великий. Всю жизнь пробыл в нетях⁶, пятидесяти лет недорослем писался, и хоть

⁶ Нет я м и назывались не явившиеся на службу дворяне.

при Петре Великом не раз был за то батогами бит нещадно, но обычай свой снес – на службу в Питер не явился. Спервоначалу и немецкого платья надеть на себя не хотел, да супруга обрядила. Был женат на богатой, супруга на ассамблеях упражнялась, нраву была сварливого, родня у ней знатная, потому мужу бить себя не соизволила; и он у нее из рук смотрел. Хоть через великую силу, бородой и охабнем супружеской любви поступился. А родитель Ивана Сергеича, в прежни годы, с князьями Мышецкими заодно был, у расколыщиков в Выгорецком ските и жизнь скончал.

– Нет ли, – говорит ему князь Алексей Юрьич, – в этом пойле греха? Не опоганили ль мы с тобою, честный отче, души своих?

– А что ж в чаю поганого? – отвечает Иван Сергеич. – Не табачище!.. Об чае и в Соловецкой челобитной не обозначено, стало быть, погани в нем нет никакой.

– А видишьли, честный отче, вычел я в одной французской книге, что когда в Хинской земле чай собирают, так языческие тамошние жрецы богомерзкое свое служение на полях совершают и водой идоло-жертвенной чай на корню кропят. А по уставу идоло-жертвенное употреблять не подобает. Поведай же нам, честный отче, опоганили мы свои души аль нет?

– А может статья, на тот чай, что мы у тебя пьем, богомерзкая-то вода и не попала? – молвил Иван Сергеич, накрывая чашку. – Вот тебе и сказ.

– Ох, ты, ответчик! – крикнул князь Алексей Юрьич, немножко прогневавшись. – Все-то у тебя ответы. Сказывают, что смолоду ты немало и раскольничьих ответов Неофиту писал... Правда, что ли? – молвил князь, подмигнув губернатору. – Сколько, лысый черт, на твою долю поморских ответов пришлось написать? Сочти-ка да скажи нам.

– Тебе бы, князь Алексей, цыплят по осени считать, а такого дела не ворошить. Не при тебе оно писано.

– Смотри, лысый черт, ты у меня молчи. Не то господина губернатора и владыку святого стану просить, чтоб тебя с расколыщиками в двойной оклад записали. Пощеголяешь ты у меня с желтым козырем да со значком на вороту.

Хоть и разгневался маленько князь Алексей Юрьич, но Иван Сергеич барин был большой, попросту с ним разделаться невозможно, сам сдачи даст, у самого во дворе шестьсот человек, а кошки да плети не хуже заборских.

На счастье, под самое то слово чихнул губернатор. Встали и поклон отдали. Привстал и князь Алексей Юрьич. И все в один голос сказали:

– Салфет вашей милости!⁷

А губернатор кланяется да приговаривает:

– Красота вашей чести!

На ту пору дверь распахнулась, четыре лакея, каждый в сажень ростом, закуску на подносах внесли и на столы по-

⁷ При дворе говорили салют (salut) вашей милости, в провинции салют переделали всалфет. В глухих городах с а л ф е т до сих пор водится.

ставили. Были тут сельди голландские, сыр немецкий, икра яикская с лимоном, икра стерляжья с перцем, балык донской, колбасы заморские, семга архангелогородская, ветчина вестфальская, сиги в уксусе из Питера, грибы отварные, огурцы подновские, рыжики вятские, пироги подового дела, оладьи и пряженцы с яйцами. А в графинах водка золотая, водка анисовая, водка зорная, водка кардамонная, водка тминная, – а все своего завода.

Закусывают час либо два, покамест все графины не опорожнят, все тарелки не очистят, тогда обедать пойдут.

А в столовой, на одном конце княгиня Марфа Петровна с барынями, на другом князь Алексей Юрьич с большими гостями. С правой руки губернатору место, с левой – генерал-поручику, за ними прочие, по роду и чинам. И всяк свое место знай, выше старшего не смей залезать, не то шутам велют стул из-под того выдернуть, аль прикажут лакеям кушаньем его обносить. Кто помельче, те на галерее едят. Там в именины человек пятьсот либо шестьсот обедывало, а в столовой человек восемьдесят либо сто – не больше.

Подле князя Алексея Юрьича с одной стороны двухгодовалого ручного медведя посадят, а с другой – юродивый Спирия на полу с чашкой сядет: босой, грязный, лохматый, в одной рубахе; в чашку ему всякого кушанья князь набросает, и перцу, и горчицы, и вина, и квасу, всего туда накладет, а Спирия ест с прибаутками. Мишку тоже из своих рук князь кормил, а после водкой, бывало, напоит его до того, что зверь

и ходить не может.

В столовой на серебре подавали, а для князя, для княгини и для генеральства ставились золотые приборы. За каждым стулом по два лакея, по углам шуты, немые, карлики и калмыки – все подачек ждут и промеж себя дерутся да ругаются.

Уху, бывало, в серебряной лохани подадут – стерляди такие, какие в нонешни годы и не ловятся: от глаза до пера два аршина и больше. Осетры – чудо морское. А там еще зад быка принесут, да ветчины окорока три-четыре, да баранов штуки три, а кур, индеек, гусей, уток, рябков, куропаток, зайцев – всей этой мелкоты без счету. Всех кушаний перемен тридцать и больше, а после каждой перемены чарки в ходе. Подавали вина ренские, аликантское, эрмитаж и разные другие, а больше домашние наливки и меда ставленные. В стары годы и такие господа, как князь Алексей Юрьич, заморских вин кушали понемногу, пили больше водку да наливки домашние и меды. Дорогие вина только в праздники подавались, и то не всем: подавать такие вина на галерею в заведении не было. А шампанское вино да венгерское только и пивали в именины...

Под конец обеда, бывало, станут заздравную пить. Пили ее в столовой шампанским, в галерее – вишневым медом... Начнут князя с ангелом поздравлять, «ура» ему закричат, певчие «многие лета» запоют, музыка грянет, трубы затрубят, на угоре из пушек палить зачнут, шуты вокруг князя кувыркаются, карлики пищат, немые мычат по-своему, боль-

шие господа за столом пойдут на счастье имениннику посуду бить, а медведь ревет, на задние лапы поднявшись.

Встанут из-за стола, княгиня с барынями на свою половину пойдет, князь Алексей Юрьич с большими господами в гостиную. Сядут. Оглядится князь, все ли гости уселись, лишних нет ли, помолчит маленько да, глядя на старшего дворецкого, вполголоса промолвит ему: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь».

Дворецкий парень был наметанный, каждый взгляд князя понимал. Тотчас, бывало, смекнет, в чем дело. Было у князя в подвале старое венгерское – вино дорогое, страх какое дорогое! Когда еще князь Алексей Юрьич при государыне в Питере проживал, водил он дружбу с цесарским резидентом, и тот цесарский резидент из своего королевства бочек с пятью того вина ему по дружбе вывез. Пахло ржаным хлебом, оттого князь и звал его хлебом насущным. А подавали то вино изредка.

Принесут гайдуки стопки серебряные, старший дворецкий разольет хлеб насущный. Возьмет князь Алексей Юрьич стопку, привстанет, к губернатору обернется: «будьте здоровы», – скажет и хлебнет хлеба насущного. Потом опять привстанет, генерал-поручика тем же манером поздравствует и опять хлебнет хлеба насущного. И прочих также, все по роду и по чину. А кого князь здравствует, тому и прочие, привставая, кланяются и хлеба насущного прихлебывают. А певчие поют многолетие, в галерее «ура» кричат, на угоре из пушек

палят, трубы, рога, музыка. И питаются, бывало, хлебом насущным, когда час времени, когда и больше.

– Ну, – скажет, вставая, князь Алексей Юрьич, – бог напичал, никто не видал, а кто видел, тот не обидел. Не пора ль, господа, к Храповицкому? И птице вольной и зверю лесному, не токмо человеку разумному, присудил господь отдыхать в час полуденный.

И пойдут по своим местам, а князю Алексею Юрьичу на балконе кресло уж поставлено. И станет по Заборью тишина. Только храп слышно... отдыхают...

Соснув маленько, зачнут к вечернему балу снаряжаться, и весь дом станет вверх дном. Господа, барыни и барышни сидят в пудрамантах, девушки да камердинеры так и снуют: кто с робой, кто с утюгом, кто с фижмами, кто с камзолом газетовым. В одном месте пряжки к башмакам прилаживают, в другом барышню две девки что есть мочи стягивают, в третьем барыни мушки на лицо себе лепят... К семи часам все готовы и соберутся в дом. А там уж восковых свечей зажжены тысячи, перед домом и в саду плошки, по горе смоляные бочки горят, а за Волгой, на том берегу, костры разложены.

Выйдет князь Алексей Юрьич с княгиней Марфой Петровной во всем параде, и грянет музыка. Полонез заиграют: губернатор, в зеленом кафтане на красном стамеде, в алом камзоле, в большом парике, с кавалерией через плечо, к княгине подлетит, реверансы друг другу сделают и пойдут. По-

сле того другие господа, кто барыню, кто барышню поднимут и пойдут водить полонез по залам и галереям, и водят немалое время. А барынь поднимают и в полонез водят также по роду и по чинам. Находившись досыта, в боковую галерею пойдут «пастораль» смотреть. Там подмостки с декорацией сделаны, и как гости войдут, музыканты итальянские кантаты играть зачнут, и играют, покамест гости по местам рассядутся.

Тут занавеска на подмостках поднимется, сбоку выйдет Дуняшка, ткача Егора дочь, красавица была первая по Забору. Волосы наверх подобраны, напудрены, цветами изукрашены, на щеках мушки наклеплены, сама в помпадуре на фижмах, в руке посох пастушечий с алыми и голубыми лентами. Станет князя виршами поздравлять, а писал те вирши Семен Титыч. И когда Дуня отчитает, Параша подойдет, псаря Данилы дочь.

Эта пастушкой наряжена: в пудре, в штанах и в камзоле. И станут Параша с Дунькой виршами про любовь да про овечек разговаривать, сядут рядком и обнимутся... Недели по четыре девок, бывало, тем виршам с голосу Семен Титыч учил – были неграмотны. Долго, бывало, маются, сердечные, да как раз пяток их для понятия выдерут, выучат твердо.

Андрюшку-поваренка сверху на веревках спустят. Мальчишка был бойкий и проворный, – грамоте самоучкой обучился. Бога Феба он представлял, в алом кафтане, в голубых штанах с золотыми блестками. В руке доска прорезная, зо-

лотой бумагой оклеена, прозывается лирой, вокруг головы у Андриюшки золочены проволоки натыканы, вроде сияния. С Андриюшкой девять девок на веревках, бывало, спустят: напудрены все, в белых робронах, у каждой в руках нужная вещь, у одной скрипка, у другой святочная харя, у третьей зрительна трубка. Под музыку стихи пропоют, князю венок подадут, а плели тот венок в оранжерее из лаврового дерева.

И такой пасторалью все утешены бывали. Велит иной раз князь Алексей Юрьич позвать к себе Семена Титыча, чтоб из своих княжих рук подарок ему пожаловать, но никогда его привести было невозможно, каждый раз не годился и в своей горнице за замком на привязи сидел. Неспокоен, царство ему небесное, во хмелю бывал.

Опять полонез заиграют, господа в большую залу пойдут. Тут Матвея Михайлыча – генерал-поручика – маршалам сделают, княгиня Марфа Петровна букет цветов пожаловать ему изволит. Приколет он те цветы к кафтану и зачнет танцами распорядиться. Сперва менуэт танцуют, кланяются, реверансы делают, к сердцу руки прижимают, на разлет ими отмахивают, а барышни приседают, на сторонку перегибаются и веер тихонько поднимают. После менуэта маришаску начнут, а там матрадур, гавот и разные другие танцы. Чуть не до полночи, бывало, промаются.

Вперемежку танцев питье подавали: воду брусничную, грушевку, сливянку, квас яблочный, квас малиновый, питье миндальное. Заедки всякие, бывало, разносили: конфеты,

марципаны, цукаты, сахара зеренчатые, варенье инбирное индейского дела; из овощей – виноград, яблоки да разные овощи полосами: полоса дынная, полоса арбузная да ананасная полоска невеликая. Дынную да арбузную всем подают, ананасную не всякому, потому что вещь редкостная, не всякому гостю по губам придется.

А в других комнатах столы расставлены, на них в фаро да в квинтич играют; червонцы из рук в руки так и переходят, а выигрывает, бывало, завсегда больше всех губернатор. Другие кости мечут, в шахматы играют – кому что больше с руки. А меж игрой пунши да взварцы пьют, а лакеи то и дело водку да закуски разносят.

Вечерний стол бывал не великий: кушаньев десять либо двадцать – не больше, зато напитков вдоволь. Пьют, друг от дружки не отставая, кто откажется, тому князь прикажет вино на голову лить. А как после ужина барыни да барышни за княгиней уйдут, а потом и из господ кто чином помельче аль годами помоложе по своим местам разойдутся, отправится князь Алексей Юрьич в павильон и с собой гостей человек пятнадцать возьмет. И пойдет там кутеж на всю ночь до утра. Только что войдут туда князь Алексей Юрьич, и кафтан и камзол долой, гости тоже. Спервоначалу кипрским вином серебряную дедовскую ендову нальют, «чарочку» запоют и пустят ендову вкруговую. Не то попарно, как гребцы в лодке, на пол усядутся. «Вниз по матушке по Волге» зятянут и орут себе что есть мочи. А запевалой сам князь Алексей Юрьич.

– Нет, скучно так, ребята, – скажет, бывало, – богинь, богинь сюда с Парнаса!

И влетят богини: Дуняша, Параша, Настенька, Машенька, Грушенька, девять сестер, что в пасторали были, да еще сколько нужно на придачу по числу гостей. Все разряжены. которая в пудре и роброне, ровно барышня, которая в сарафане, а больше так, как в павильонах на стенах писано.

Красавицы-то были какие! Хоть бы Дуню взять. Беленькая, крепонькая, черные глазенки в душу так и смотрят. Пойдет плясать: старик растает, на нее глядя! Бубен в руку; вверх его над головой вскинет, обведет всех глазами, топнет ножкой да вольной птичкой так и запорхает, а сама вся, как змейка, изгибается, от сердечной истомы щеки пышут, глазки горят, а ротик раскрыт у голубушки... Настенька опять – девочка славная, кровь с молоком, голосок соловьиный. Войдет, в сарафане алого бархату, в кружевных рукавах, на голове золотая повязка, коса у Настеньки по колена, – на кого ни взглянет, рублем подарит, слово кому скажет, мурашки у того по всему телу забегают... Или Груша опять!.. Машенька!.. На подбор были собраны красавицы, а выбирались из целой вотчины. Все-то состарелось, а состарившись примерло!..

Заря в небе зарумянится, а в павильоне песни, пляс да попойка. Воевода, Матвей Михайлыч, драгунский, Иван Сергеич, губернатор и другие большие господа, – кто пляшет, кто поет, кто чару пьет, кто с богиней в уголку сидит... Сам князь Алексей Юрьич напоследок с Дуняшей казачка пой-

дет.

– Эй, вы, римляне! – крикнет под конец. – Похищай сабинянок, собаки!

Схватит каждый гость по девочке: кто посильней, тот на плечо красоточку взвалит, а кто в охапку ее... А князь Алексей Юрьич станет средь комнату, да ту, что приглянулась, перстиком к себе и поманит... И разойдутся.

Тем именины и кончатся.

V

В монастыре

Охоту больше на красного зверя князь Заборовский любил. Обложили медведя – готов на край света скакать. Леса были большие, лесничих в помине еще не было, оттого не бывало и порубок; в лесной гущине всякого зверя много водилось. Редкую зиму двух десятков медведей не поднимали.

Только станет зима, человек сорок пошлют берлоги искать. Опречь того мужики по всей округности знали, какое жалованье за медведя князь Алексей Юрьич дает, оттого, бывало, каждый, кто про медведя ни проведает, вести приносит к нему. А сохрани, бывало, господи, ежели кто без него осмелится медведя поднять! Не родись на свет тот человек!..

Сам любил мишку повалить. Таков приказ у него был: «бей медведя, коли драть тебя станет аль под себя подберет, – до тех пор тронуть его не моги».

Из ружья редко бивал, не жаловал князь ружейной охоты, больше все с ножом да с рогатиной. – «Надобно ж, говорит, бывало, Михаиле Иванычу, господину Топтыгину, перед смертным часом дать позабавиться: что толку пулей его свалить, из ружья бей сороку, бей ворону, а с мишенькой весело силкой помериться!»

Сорокового бил из ружья. Сороковой медведь – дело не

простое, редкому счастливо сходит он с рук – любит сороковой человека без костяной шапки оставить.

А всего медведей сто, коль не больше, повалил князь Алексей Юрьич в приволжских краях, и все ножом да рогатиной. Не раз и мишка топтал его. Раз бедро чуть не выел совсем, в другой, подобрав под себя, так зачал ломать, что князь закричал неблагим матом, и как медведя порешили, так князя чуть живого подняли и до саней на шубе несли. Шесть недель хворал, думали, жизнь покончит, но бог помиловал.

Берлогу отыщут, зверя обложат. Станет князь против выхода. Правая рука ремнем окручена, ножик в ней, в левой – рогатина. В стороне станут охотники, кто с ружьем, кто с рогатиной. Поднимут мишку, полезет косматый старец из затвора, а снег-от у него над головой так столбом и летит.

И примет князь лесного боярина по-холопски, рогатиной припрет его, куда следует, покрепче. Тот разозлится да на него, а князь сунет ему руку в раскрытую пасть да там ножом и пойдет работать. Тут-то вот любо, бывало, посмотреть на князя Алексея Юрьича – богатырь, прямой богатырь!..

А по осени, как в отъездное поле соберутся, недель по шести, бывало, полюют, провинции по две объезжали. Выедет князь Алексей Юрьич, как солнце пресветлое: четыреста при нем псарей с борзыми, ста полтора с гончими, знакомцев да мелкопоместных человек восемьдесят, а большие господа – те со своими охотами. Один Иван Сергеевич Опарин прие-

дет, бывало, так свор восемьдесят с собой приведет... Народу видимо-невидимо. Двинутся, в рога тотчас, и такой трубный глас пойдет, что просто ума помраченье. А за охотой на подводах припасы везут, повара там, конюхи, шуты, девки, музыканты, арапы, калмыки и другой народ всякого звания!

Дадут поле – тотчас на привал. А у каждого человека фляжка с водкой через плечо, потому к привалу-то все маленько и наготове. Разложат на поле костры, пойдет стряпня рукава стряхня, а средь поля шатер раскинут, возле шатра бочонок с водкой, ведер в десять.

– С полем! – крикнет князь Алексей Юрьич, сядет верхом на бочонок, нацедит ковш, выпьет, сколько душа возьмет, да из того ж ковша и других почнет угощать, а сам все на бочонке верхом.

– С полем, честной отче! – крикнет Ивану Сергеичу. Подойдет Иван Сергеич, князь ему ковшик подаст.

– Будь здоров, князь Алексей, с чады, с домочадцы и со всеми твоими псами борзыми и гончими, – молвит Иван Сергеич и выпьет.

– Целуй меня, лысый черт.

И поцелуются. А князь все на бочонке верхом. По одному каждого барина к себе подзывает, с полем поздравляет, из ковша водкой поит и с каждым целуется. После больших господ мелкопоместное шляхетство подзывает, потом знакомцев, что у него на харчах проживали.

А для подлого народу в сторонке сорокоуша готова. На-

роду немало, а винцо всякому противно, как нищему гривна: по малом времени бочку опростают.

Ковры на поляне расстелют, господа обедать на них усядутся, князь Алексей Юрьич в середке. Сначала о поле речь ведут, каждый собакой своей похвально, об лошадях спорят, про прежние случаи рассказывают. Один хорошо сморозит, другой лучше того, а как князь начнет, так всех за пояс заткнет... Иначе и быть нельзя; испокон веку заведено, что самый праведный человек на охоте что ни скажет, то соврет.

– Нет, – молвил князь Алексей Юрьич, – вот у меня лошадь была, так уж конь. Аргамак персидский, настоящий персидский. Кабинет-министр Волынский, когда еще в Астрахани губернатором был, в презент мне прислал. Видел ты у меня его, честный отче?

– А какой же это аргамак? Что-то не помню я у тебя, князь Алексей, такого.

– Э! нашел я спросить кого, точно не знаю, что ты до седых волос в недорослях состоишь и Питера, как черт ладану, боишься... Так вот аргамак был. Каковы были кони у герцога курляндского, и у того такого аргамака не бывало. Приставал не один раз курляндчик ко мне, подари да подари ему аргамака, а не то бери за него, сколь хочешь.

– Что же, продали, князь? – спросил Суматов, Сергей Осипыч, тоже барин большой.

– Эх, ты, голова с мозгом! Барышник, что ли, я конский, аль цыган какой, что стану лошадьми торговать? В курлянд-

ском герцогстве тридцать четыре мызы за аргмака мне владеющий герцог давал, да я и то не уступил. А когда регентом стал, фельдмаршалом хотел меня за аргмака того сделать, – я не отдал.

– Ну уж и фельдмаршалом! – усмехнулся Иван Сергеич.

– Да ты молчи, лысый черт, коли тебя не спрашивают. Знаешь, что во многоглаголании несть спасения, потому и молчи... Просидел век свой в деревне, как таракан за печью, так все тебе в диковину... Что за невидаль такая фельдмаршал?.. Не бог знает что!.. Захотел бы фельдмаршалом быть, двадцать бы раз был. Не хочу да и все.

– Полно-ка ты, князь Алексей. Ну что городишь? Слушать даже тошно... Ну как бы ты стал полки-то водить, когда ни в единой баталии не был.

– Ври да не завирайся, честный отче! – крикнет на то князь Алексей Юрьич. – Как я в баталиях не бывал? А Очков-от кто взял? А при Гданске кто викторию получил?.. Небось, Миних, по-твоему? Как же!.. Взять бы ему без меня две коклюшки с половиной!.. Принял только на себя, потому что хитер немец, везде умеет пролезть... А я человек простой, вязаться с ним не захотел. Ну, думаю себе, бог с тобой, обидел ты меня, да ведь господь терпел и нам повелел... И отлились же волку овечьи слезки! Теперь проклятый немец в Пелыме с ледяными сосульками воует, а мы вот гуляем да красного зверя травим!.. Да!

И подвернись на грех Постромкин, Петр Филипыч, из

мелкопоместных. Служил в полках, за ранами уволен от службы. Вступишь он за Миниха – под командой у него прежде служил.

Как вскочит князь Алексей Юрьич, пена у рта.

– Ах, ты, шельмец! – закричал. – Смеешь рот поганый распускать... Эй, вы!.. Вздуть его!

Выпил ли чересчур Петр Филипыч, азарт ли такой нашел на него, только как кинется он на князя, цап за горло, под себя, да и ну валять на обе корки.

– Смеешь ты, говорит, честного офицера шельмецом обзывать!.. Похвальбишка ты паскудный!.. Да я сам, говорит, тебя вздую.

И вздул.

А князь:

– Полно, полно, Петр Филипыч... Больно ведь!.. Перестань... Лучше выпьем!.. Я ведь пошутил, ей-богу, пошутил.

И с той поры приятели сделались. Водой не разольешь.

Наедут, бывало, на вотчину Петра Алексеича Муранского. Барин богатый, дом полная чаша, но был человек не веселый, в болезни да в немощах все находился. А с молодю «скосырем» слыл и, живучи в Питере, на ассамблеях и банкетах так шпынял⁸ больших господ, барынь и барышень, что все речей его пуще огня и чумы боялись. С Минихом под туркой был, под Очаковом его искалечили, негоден на службу стал и отпросился на покой. Приехал в деревню и ровно

⁸ Шпынять – подсмеиваться, острить.

переродился. Был одинок, думали – женится, а он в святость пустился: духовные книги зачал читать, и хоть не монах, а жизнь не хуже черноризца повел. Много добра творил, бедным при жизни его хорошо было: только все это узналось лишь после кончины его, для того, что милостыню творил тайную. И такой был мудреный человек, что всем на удивление! Была псарня, на охоту не ездил; были музыканты, при нем не играли; ни пиров, ни банкетов не делал; сам никуда, кроме церкви, ни ногой и холопям никакого удовольствия не делал, не поил их, не бражничал с ними... И что же? И господа и холопы как отца родного любили его. Недаром князь Алексей Юрьич «чудотворцем» его называл. А другие колдуном считали Муранского.

К нему, бывало, охотой двинутся. Табор-от в поле останется, а князь Алексей Юрьич с большими господами, с шляхетством, с знакомцами, к Петру Алексеичу в Махалиху, а всего поедет человек двадцать, не больше. Петр Алексеич примет гостей благодушно, выйдет из дома на костылях и сядет с князем рядышком на крылечке. Другие одаль – и ни гугу.

– Ну, чудотворец, – скажет, бывало, князь Алексей Юрьич, – мы к тебе заехали потрапезовать: припасы свои, нынче ведь пятница, опричь луку да квасу у тебя, чай, нет ничего. Благослови на мясное ястие и хмельное питие!.. Эй, ты, честный отче!.. Лысый черт!.. Куда запропастился?

А Иван Сергеич чинным шагом выступает с задворка,

ровно утка с боку на бок переваливается. Маленький был такой да пузатенький.

– Здравствуйте, говорит, государь мой, Петр Алексеич. Как вас господь бог милует? Что ты, князь Алексей, меня кликал! Аль заврался в чем-нибудь, так на выручку я тебе понадобился?

– Я-те заврусь!.. У меня, лысый черт, ухо остро держи. Проси-ка вот лучше у чудотворца на трапезу благословенья... Эх! да ведь у меня из памяти вон, что ты, честный отче, раскола держишься – сам сегодня ради пятницы, поди, на сухарях пробудешь? Нельзя скоромятины – выгорецкие отцы не благословили.

И пойдут перекоряться, а Петр Алексеич молчит, только ухмыляется.

– Пошпыняй ты его хорошенько, пошпыняй лысого-то черта, – скажет князь Алексей Юрьич, – вспомни старину, чудотворец!.. Помнишь, как, бывало, на банкетах у графа Братиславского всех шпынял.

– Полно-ка, миленький князь, – ответит Петр Алексеич. – Мало ль чего бывало? Что было, голубчик, то былью поросло. А обед вам готов; ждал ведь я гостей-то... Еще третьего дня пали слухи, что ты с собаками ко мне в Махалиху едешь. Милости просим.

– Ну, вот за это спасибо, чудотворец. Погреба-то вели отпереть, не то ведь – народ у меня озорной, разбойник на разбойнике. Не ровен час: сам двери вон – да без угощенья, что

ни есть в погребу, и выхлебают. Не вводи бедных во грех – отдай ключи.

– Ох ты, проказник, проказник, миленький мой князинька! – с усмешкой промолвит Петр Алексеич. – Что с тобой делать!.. Пахомыч!

Подойдет ключник Пахомыч.

– Отдай княжим людям ключи от второго, что ли, погреба. Пускай утешаются. Да молви дворецкому: гости, мол, есть хотят.

Из табора нагрянут и выпьют весь погреб. А в погребе со-рокоуша пенного да ренское, наливки да меда. А погребов у Муранского было с десятков.

Посередь Заборья, в глубоком поросшем широколистным лопушником овраге, течет в Волгу речка Вишенка. Летом воды в ней немного, а весной, когда в верхотинах мельничные пруды спустят, бурлит та речонка не хуже горного потока, а если от осеннего паводка сорвет плотины на мельницах, тогда ни одного моста на ней не удержится, и на день или на два нет через нее ни перехода, ни переезда.

Раз, напировавшись у Муранского, взявши после того еще поля два либо три, князь Алексей Юрьич домой возвращался. Гонца наперед послал, было б в Заборье к ночи сготовлено все для приема больших господ, мелкого шляхетства и знакомцев, было б чем накормить, напоить и где спать положить псарей, доезжачих охотников.

Ветер так и рвет, косой холодный дождик так и хлещет, тьма – зги не видно. Подъезжают к Вишенке – плотины сорваны, мосты снесены, нет пути ни конному, ни пешему. А за речкой, на угоре, приветным светом блещут окна дворца Заборского, а налево, над полем, зарево стоит от разложенных костров. Вкруг тех костров псарям, доезжачим, охотникам пировать сготовлено.

Подъезжает стремянный, докладывает: «нет переезду!..»

– Броду! – крикнул князь.

Стали броду искать – трое потонуло. Докладывают...

– Броду!.. – крикнул князь зычным голосом. – Не то всех перепорю до единого! – И все присмирели, линн, вой ветра да шум разъяренного потока слышны были.

Еще двоих водой снесло, а броду нет.

– Бабы!.. – кричит князь. – Так я же вам сам брод сыщу!

И поскакал к Вишенке. Нагоняет его Опарин, Иван Сергеич, говорит:

– Ты богатырь, то всем известно... Ты перескочишь, за тобой и другие... Кто не потонет, тот переедет... А собаки-то как же? Надо ведь всех погубить. Хоть Пальму свою пожалей.

А Пальма была любимая сука князя Алексея Юрьича – подаренье приятеля его, Дмитрия Петровича Палецкого.

– Правду сказал, лысый черт, – молвил князь, остановив коня. – Что ж молчал?.. Пятеро ведь потонуло!.. На твоей душе грех, а я тут ни при чем.

Поворотил коня, стегнул его изо всей мочи и крикнул:
– В монастырь!..

А монастырь рядом, на угоре. Был тот монастырь строе-
ные князей Заборовских, тут они и хоронились; князь Алек-
сей Юрьич в нем ктитором был, без воли его архимандрит
пальцем двинуть не мог. Богатый был монастырь: от ярмон-
ки большие доходы имел, от ктитора много денег и всякого
добра получал. Церкви старинные, каменные, большие, ико-
ностасы золоченой резьбы, иконы в серебряных окладах с
драгоценными камнями и жемчугами, колокольня высокая,
колоколов десятков до трех, большой – в две тысячи пуд, риз
парчовых, глазетовых, бархатных, дородоровых множество,
погребов полнехоньки винами и запасами, конюшни – коня-
ми доброезжими, скотный двор – коровами холмогорскими,
птичный – курами, гусями, утками, цесарками.

А порядок в монастыре не столько архимандрит, сколько
князь держал. Чуть кто из братии задурит, ктитор его на ко-
нюшню. Чинов не разбирал: будь послушник, будь рясофор,
будь соборный старец – всяк ложись, всяк поделом прини-
май воздаянье. И было в Заборском монастыре благострое-
ние, и славились старцы его великим благочестием.

Только что решил князь в монастыре ночлег держать, трое
вершников поскакали архимандрита повестить. Звон во все
колокола поднялся...

Подъехали. Святые ворота настежь, келарь, казначей, со-
борные старцы в длинных мантиях по два в ряд. По сторонам

послушники с фонарями. Взяли келарь с казначеем князя под руки, с пением и колокольным звоном в собор его повели. За ними большие господа, шляхетство, знакомцы. Псарь, доезжачие, охотники по широким монастырским дворам костры разложили – отец казначей бочку им выкатил. Греются – Христос с ними – под кровом святой обители Воздвижения честного и животворящего креста господня... А собаки вокруг них тут же отдыхают, чуя монастырскую овсянку. Отец эконома первым делом распорядился насчет собачьего ужина... Знал старец преподобный, сколько милы были псы сердцу ктитора честной обители... Оттого и заботился...

В церкви князя встретил архимандрит соборне, в ризах, с крестом и святою водою. Молебен отпели, к иконам приложились, в трапезу пошли. И там далеко за полночь куликали.

Разместились гости, где кому следовало, а князь с архимандритом в его келье лег. Наступил час полуночный, ветер в трубе воеет, железными ставнями хлопает, по крыше свистит. Говорит князь шепотом:

– Отче архимандрит... Отче архимандрит... Спишь аль нет?..

– Не сплю, ваше сиятельство. А вам что требуется?

– Страх что-то берет!.. Что это воеет?..

– Ветер, – говорит архимандрит.

– Нет, отче преподобный, не ветер это, другое что-нибудь.

– Чему же другому-то быть? – отвечает архимандрит. –

Помилуйте, ваше сиятельство! Что это вы?

– Нет, отче святой, это не ветер... Слышишь, слышишь?..

– Слышу... Собаки завыли.

– Цыц, долгогривый!.. Собак тут нашел!.. Слышишь?.. Душа Палецкого воет... Знал ты Палецкого Дмитрия Петровича?

– Разве могут души усопших выть? – молвил архимандрит.

– Это не говори... Не говори, отче преподобный... Мало ль что на свете бывает!.. Это Палецкий!.. Он воет!.. Слышишь? Упокой, господи, душу усопшего раба твоего Дмитрия... Страшно, отче святой!.. И лампадка-то у тебя тускло горит... Зажги свечу!..

– Зажгу, пожалуй, – молвил архимандрит. – Да полноте, ваше сиятельство. Как это не стыдно и не грех?

– Толкуй тут, а я знаю... Это меня зовет Палецкий... Скоро, отче, придется тебе хоронить меня.

– Что это вам на ум пришло? – говорит архимандрит. – Конечно, памятование о смертном конце спасительно, да ведь и суеверие греховно... Уж если о смерти помышлять, так лучше бы вашему сиятельству о своих делах подумать.

– А что мои дела?.. Какие дела?.. Украл, что ли, я у кого?.. Позавидовал кому?.. Аль мало вкладов даю тебе на монастырь, подлая твоя душа, бесстыжие поповские глаза!.. Нет, брат, шалишь! На этот счет я спокоен, надеюсь на божье милосердие... А все-таки страшно...

– То-то страшно: страшен-то грех, а не смерть... Так-то,

ваше сиятельство, – молвил архимандрит.

– Привязался, жеребьячья порода, с грехами, что банный лист! И говорить-то с тобой нельзя. Тотчас начнет городить черт знает что... Давай спать, я и свечку потушу.

– Спите с богом, почивайте, покойной ночи вашему сиятельству, – проговорил архимандрит.

Замолчали, и ветер маленько стих. А князь Алексей Юрьич все вздыхает, все на постели ворочается. Опять завыв ветер.

– Что это все воздыхаете, ваше сиятельство? – спросил архимандрит.

– О смертном часе, отче святой, воздыхаю. Слышишь?.. Слышишь?.. Упокой, господи, душу раба твоего Дмитрия!.. Его голос...

– Да это собака завывла.

– Собака?.. Да... да... собака, точно собака. Только постой!., погоди!.. Пальма – ее голос... А Пальма Палецкого подаренье... это – она его душу чувствует, ему завывает... А это?.. Да воскреснет бог и расточатся врази его!.. Это что?.. Собака, по-твоему, собака?

– Ветер в трубе.

– Ветер!.. Хорош ветер!.. Упокой, господи, душу раба твоего Дмитрия!.. Хороший был человек, славный был человек, любил я его, душа в душу мы с ним жили... Еще в Петербурге приятелями были, у князя Михайлы ознакомились, когда князь Михайла во времени был. Обоим нам за одно дело и

в деревни велено... Все, бывало, вместе с ним... Ох, господи!.. Страшно, отче святой!..

– Полноте, ваше сиятельство, перестаньте... Вы бы пере­крестились да молитву сотворили. От молитвы и страх и ночное мечтание яко дым исчезают... Так-то...

– Молюсь... молюсь, отче преподобие... Прости, госпо­ди, согрешения мои, вольные и невольные... Опять Паль­ма!.. Чует, шельма, старого хозяина!.. Я же словом, я же де­лом, я же ведением и неведением!.. Видишь ли, отче, когда умирал Дмитрий Петрович, царство ему небесное, при нем я был... И он, голубчик, взял меня за руку, да и говорит: «нехорошо, князинька, мы с тобой жили на вольном свету, при смерти вспомнишь меня»... Да с этим словом застонал, потянулся, глядь – не дышит... Ох, господи!.. Чу!.. Поминает, что смерть подходит ко мне... Слышишь, отче?..

– Одно суеверие, – сказал архимандрит. – Предзнамено­ваниям веры давать не повелено... Кто им верит – духу тьмы верит... Пустяками вы себя пугаете.

– У тебя все пустяки!.. Нет, отче святой, разумею аз, грешный, близость кончины: предо мной стоит... Слы­шишь?.. Скоро предамся червям на съедение, а душу неве­домо како устроит господь.

– Да отчего это вам в голову пришло?

– Мало ль отчего?.. И Палецкий воеет, и Пальма воеет, и сны такие вижу... Сказано в Писании: «старцы в сониях видят». У пророка Иоиля сказано то! А мне седьмой десяток, стало

быть, я старец... Старец ведь я, старец?..

– Дело не молодое, – молвил архимандрит.

– Так пилишь ли: «старцы в сониях видят». А что я вечер во сне видел?.. С Машкой-скотницей венчался... Видеть во сне, что венчаешься, – смерть.

– Полноте, греховодник вы этакий!

– Тебе все полно да полно! Не тебе, чернохвостнику, в гроб-от ложиться... А это, по-твоему, тоже «полно», что на-медни Дианка тринадцатую оценилась? Да еще одного трехпалого принесла, сам борзой, щипец ровно у гончей, и без правила. Это, по-твоему, тоже ничего?

– Не повелено, ваше сиятельство...

– Да ты молчи, коль я с тобою говорю, черт ты этакий!.. По-твоему и это ничего, что нынешнего года в самое мое рожденье зеркало в гостиной у меня лопнуло?

– Слышал я, что сами же свечу под то зеркало подставили.

– Врешь, отче преподобный, ничего ты не смыслишь!.. Коли зеркало лопнуло – кончено дело. Тут уж, брат, как ни вертись – от смерти не отвертишься. А тебе все ничего... Ты, пожалуй, скажешь, и это ничего, что на-медни ко мне воробей в кабинет залетел?.. По-твоему, и это ничего, что на прошлой неделе нас ужинать село тринадцать?.. Отсчитал от себя тринадцатого – вышел Скорняков. Знаешь Скорнякова? В знакомцах у меня проживает – рыжий такой, губа сеченая... Думаю, пусть же над ним надо псом оборвется тринадцатый. Велел ему пить – жизнь бы свою тут же покончил,

собака... С полведра вылакал, бестия, без памяти под стол свалился, ни духу, ни послушания. «Ну, думаю, слава тебе господи – опился. Тринадцатый-то, значит, он...» Что ж ты думаешь?.. На другой день поутру глядь, а он в буфете похмеляется... Так меня варом и обдало!.. Кто ж, по-твоему, тринадцатый-то вышел?.. А?..

– Великий грех суевериям предаваться, – говорил архимандрит.

– А ты молчи, жеребьячья порода!.. Видишь, к смертному часу готовлюсь, так ты молчи... Слышишь!.. Опять Палецкий!.. А вот и Пальма его учуяла!.. Страшно!.. Помолись обо мне, отче преподобный, не помяни моих озлоблений, помолись за меня, за грешного, простил бы господь прегрешения мои, вольная и невольная... Молись за меня, твое дело. Еще году не прошло, большой вклад тебе положил, колокол вылил – значит, не даром прошу святых молитв твоих... Духовную писал, душеприказчиком тебя сделал. Сам знаешь, oprичь тебя такого дела поручить некому, народ все пьяный, забулдыжный... Так уж я тебя... Помру, положи ты меня в ногах у родителя моего, князя Юрия Никитича; сорок обеден соборне отслужи за меня, в синодик запиши в постенной и в литейной, чтобы братия по все годы молилась за меня беспереводно. А панихиды по мне петь: на день преставления моего да пятого октября, на день московских святителей Петра, Алексия, Ионы – ангела моего день, – и служить те панихиды каждый год беспереводно... И в те дни корм на

братию и велие утешение... Так и вели записать в синодик, и те бы архимандриты, которые после тебя будут, ведали и чинили по моему завещанию каждый год безо всякия порухи. А душу свою тебе поручаю. Будь ты на покон моей души помянник, умоли ты господа бога об отпущеньи грехов моих, будь моим ходатаем, будь моим молитвенником, изведи из темницы душу мою...

И, заливаясь слезами, повалился в ноги архимандриту, ноги у него и срачицу целует, а сам так и рыдает.

Архимандрит утешает его, а князь так и разливается, плачет.

– Получишь ты по духовной большие деньги, сколько получишь, теперь не скажу: не добро хвалиться о делах своих... Четверть тех денег себе возьми, делай на них, что тебе господь на сердце положит; другой четвертью распорядись по совету с братией, как устав велит... На соборе-то главы позолоти, совсем ведь облезли; говорил я тебе, и денег давал, и бранился с тобой, а тебе все неймется, только и слов от тебя: «лучше на иную потребу деньги изведу»... А владычице жемчужный убрус устрой, жемчуг княгиня Марфа Петровна выдаст, да выдаст она еще тебе пять пудов серебряного лому, из того лому ризы во второй ярус иконостаса устрой. В Москве закажи... Зубрилову серебрянику не сметь заказывать; я еще с ним, с подлецом, покамест жив, разделяюсь... Отведает, каналья, вкусны ль заборские кошки бывают... Представь ты себе, отец архимандрит, на ярмонке

смел он, шельмец, до моего парадного выезду лавку открыть. Счастлив, что тотчас же уехал, а то б я ему штук пятьсот середь ярмонки-то влепил бы.

Под это слово ставень – хлоп! Побледнел князь, задрожал.

– Упокой, господи, душу раба твоего Дмитрия!.. За мной пришел. Слышал?..

– Ставень хлопнул, – ответил архимандрит.

– У тебя все ставень!.. У тебя все... А Пальма-то, Пальма-то так и завывает!

– Да полноте же, ваше сиятельство!.. Как это не стыдно?..

Ровно баба деревенская.

– Ругаться, черт этакий?.. – во все горло закричал князь и кулаки стиснул. – Не больно ругайся, промозглая кутья!.. Кулак-от у меня бабий?.. Ну-ка, понюхай.

И поднес кулачище к архимандричьему носу.

– Ложитесь-ка лучше с богом на покой... Давно уж пора, – кротко и спокойно промолвил архимандрит.

– Без тебя знают!.. «Баба»!.. Дам я тебе бабу, долгогривый черт!.. Ох, господи помилуй, опять Пальма... Нет, отче святой, надо умирать, скоро во гроб положишь меня, скоро в склеп поставят меня, темно там... сыро... Ох, господи помилуй, господи помилуй!.. Да!.. Ведь я не закончил тебе про духовную-то... Третью четверть денег раздай по всей епархии протопопам, попам, дьякам, пономарям и иным, сколько их есть, причетникам по рукам, каждому дьякону против попа половину, каждому причетнику против дьякона поло-

вину. И закажи ты им, и попроси ты их, усердно бы молились всемилостивому спасу и пресвятой богородице о прощении грешной души раба б о ж и я князя Алексия, искупили бы святыми молитвами своими велия моя прегрешения... Кирчагинскому дьякону не смей ни копейки давать!.. Вздумал на меня в губернскую канцелярию челобитну подать?.. Поле, слышь, у него я вытоптал, корову застрелил!.. Так разве хотел я у него хлеб-от топтать? Виноват разве я, что заяц в овес к нему кинулся?.. Упускать русака-то ради дьяконского овсика?.. А корову?.. Разве сам я стрелял?.. Со мной вон сколь всякой сволочи ездит, усмотришь разве за всеми?.. Усмотришь разве?.. Нет, ты скажи, отче преподобный, можно ль за этими дьяволами усмотреть?.. А?.. Можно?.. Да ты молчи, коли я говорю, губы-то не распускай: во многоглаголании несть спасения, так ты и молчи... Нечего тебе рассказывать: к духовному чину завсегда респект имею, потому что вы наши пастыри и учителя, теплые об нас молитвенники, очищаете нас, окаянных, в бездне греховной валяющихся, ото всякие мерзости и нечистоты... Оттого даже ни один пономарь отродясь в Заборье на конюшне у меня не бывал... А кирчагинский помни!.. Помни, подлый кутейник, овес да корову... Еще доберусь до шельмеца!.. Останную четверть денег изведи на похороны... Покрова не покупай, в Париж к двоюродному брату, князь Владимиру, посланы деньги, самой бы наилучшей лионской парчи там купил. Боюсь только, не спустил бы мои денежки в фаро. В Версали большую

игру ведет. Ему, шалопаю, и в голову не может прийти, что по его милости могу я на тот свет голышом пред богом предстать... Прошлого года просил его купить сочинения Вольтера да гобеленов в угольную. До сих пор не шлет... Шапку архимандричью устрой себе, у княгини Марфы Петровны жемчугов и камней спроси, – давно ей от меня приказано... А не княгиню, так капралыпу крутихинскую спроси, она тоже знает... Да делай шапку-то поразвалистей, а то срам глядеть на тебя – в каких шапках ты служишь: ни фасону, ни красоты, нет ничего... На похороны все шляхетство созови, и столповых, и молодых, и мелкопоместных; хорошенько помянули бы меня за упокой... Белавина Федьку не смей только звать... Он меня знать не хочет, и я его знать не хочу... Эка важна персона!.. А тоже сердце имеет!.. Поучил я его прошлого года маленько, так он и губу надул... Да это бы наплевать, я бы за это и вспороть его мог. В Петербург что-то писал про меня. До двора дошло; отписывали мне, будто по этому делу на куртаге говорили про меня немилостиво. А я ведь хоть не в опале, да и не во времени... Много ль надо меня уходить... Будь это при втором императоре, будь при владеющем курляндском герцоге – я бы Федьку в рудниках закопал, – а теперь я что?.. В подлости нахожусь – не хуже тебя, долгогривого... Оттого и махнул я рукой на Белавина... Что с дураком связываться? наплевать да и все тут... А ведь поучил-то его за что?.. Ради его же души спасения... Видишь ли, как было дело: обедал Федька у меня в

воскресенье, Великим постом. Сам знаешь, большие посты я соблюдаю, устав тоже знаю... Подают кушанье как следует: вино, елей, злаки и от черепокожных. А Федька Белавин, когда подали стерляжью уху, при всех и кричит мне с другого конца стола: «вы, говорит, ваше сиятельство, сами-то постов не соблюдаете, да и гостей во грех вводите». – «Что заврался, говорю, в чем ты грех нашел?» – «А в этом», – говорит да на стерлядь и показывает. Велел подать «Устав о христианском житии», подозвал Федьку Белавина: «Читай, говорю, коли грамоте знаешь». А он: «Тут писано про черепокожных, сиречь про устерсы, черепахи, раки и улитки, яже акридами нарицаются». Зло меня взяло, слыша такое ругательство над церковью божиею... Как?.. Чтобы нам святыми отцами заповедано было снедать такую гадость, как улитки?.. А Федька богомерзкий свое несет, говорит: «Стерлядь – рыба, черепа на ней нет». Поревновал я по «Уставе», взял стерлядку с тарелки да головой-то ему в рыло. – «Что, говорю, есть череп иль нет?» Кровь пошла – рассадил ему рожу-то. Только всего и было... Не драл его, не колотил, волосом даже не тронул, об его же спасении поревновал, чтобы в самом деле, по глупости своей, не вздумал христианскую душу скверной улиткой поганить... Так поди ж ты с ним... В доносы пустился: дивлюсь еще, как *слово* и *дело* не гаркнул... Погубить бы мог, шельмец... Плюнул я на Федьку, знаясь с дураком не хочу и на поминках моих кормить нечестивую утробу его не желаю. Не зови его, отче святой, никак не зови... Позовешь,

будем с тобой на том свете перед истинным Спасом судиться. Помни же это... Мне что!., господь с ним, с Белавиным, меня, маленького человека, обидеть легко, а каково-то ему на том свете будет... Вот что!.. Ну, давай спать, старина.

Ветер затих. По малом времени и князь и архимандрит захрапели.

На заре проснулся князь Алексей Юрьич, говорит архимандриту:

– Надо мне, отче, на тот свет собираться. Надо, как ты ни мудри. Только заснул я, Палецкий в овраге стоит и Пальма с ним, а в овраге жупель огненный, серой пахнет... Стоит Палецкий да меня к себе манит, сердце даже захолонуло...

– Что ж такое? – спросил архимандрит.

– Говорит: «подь сюда; сколь вору ни воровать, виселицы не миновать»... Ужаснулся я, отче, пот холодный прошиб меня, проснулся, а он воеет, и Пальма воеет... Нет, отче преподобный, вижу, что жить мне недолго; сегодня же князю Борису пишу, ехал бы в Заборье скорей, мать бы свою не оставил, отца бы предал честному погребенью... Шабаш охота!.. Поеду от тебя прямо домой – с женой проститься, долг христианский исполнить. Приезжай вечерком исповедать меня, причастить... На своих приезжай, мои-то кони в разгоне... Свадьбу сегодня у меня справляют. Устюшку-то замуж выдаю. Знаешь Устюшку-то мою? Маленькая такая, чернявенькая... ух, горячая девка какая!.. Так уж ты, отче святой, на своих приезжай, к непостыдной кончине готовить

меня многогрешного...

– Слушаю, ваше сиятельство, слушаю, беспременно приеду, не премину, – говорит архимандрит. – А к княгине Марфе Петровне поезжайте, примиритесь с нею по-христиански: знаю ведь я, что вот уж шестой год как вы слова с ней не перемолвили... Замучилась она, бедная!

– Что княгиня?.. Баба!.. Бабе плеть...

– Эх, ваше сиятельство!.. Чем бы суевериям предаваться да сны растолковывать, лучше бы вам настоящим делом о смертном часе помыслить, укрощать бы себя помаленьку, с ближними бы мириться.

– Что мне с ними мириться-то!.. Обидел, что ли, я кого?.. Курица, и та на меня не пожалуется!.. А страшно, отче преподобие!.. Ох, голова ты моя, головушка!.. Разума напиталась, к чему-то приклонишься?.. В монахи пойду.

– Княгиню-то куда же?

– Ну ее к бесу! Мне бы свою-то только душу спасти... А она как знает себе, черт с ней.

– Ах, ваше сиятельство, ваше сиятельство!.. Что с вами делать? Не знаю, что и придумать.

– «Что делать? Что делать?..» – передразнил князь архимандрита. – Ишь какой недогадливый!.. Да долго ль, в самом деле, мне просить молитв у тебя?.. Свят ты человек пред господом, доходна твоя молитва до царя небесного? Помолись же обо мне, пожалуйста, сделай милость, помолись хорошенько, замоли грехи мои... Страшен ведь час-от смерт-

ный!.. К дьяволам бы во ад не попасть!.. Ух, как прискорбна душа!.. Спаси ее, отче святой, от огня негасимого...

И заплакал, и упал к ногам архимандрита... Ноги у него целует, говорить не может от душевного смирения, от сердечного умиления.

Вдруг за оградой гончие потянули по зрячему... Грянули рога на зверя на красного... Как вскочит князь!

– На-конь! – крикнул в окно зычным голосом.

И, кое-как одевшись, не простясь с архимандритом, метнулся на крыльцо и вскочил на лошадь...

Во весь опор помчалась за ним охота к оврагу Юрагинскому.

VI

Княгиня Марфа Петровна

Много горя натерпелась в свою жизнь княгиня Марфа Петровна, мало красных дней на долю ей выпало, – великая была мученица, – царство ей небесное!

Родитель ее, князь Петр Иванович Тростенский, у первого императора в большой милости был. Ездил за море иностранным наукам обучаться, а воротясь на Русь, больше все при государе находился. В Полтавской баталии перед светлыми очами царскими многую храбрость оказал, и, когда супостата, свейского короля, побили, великий государь при всех генералах целовал князя Тростенского и послал его на Москву с отписками о дарованной богом виктории.

Отпуская в путь, дал ему государь письмо к старому боярину Карголомскому. А тот Карголомский жил по старым обычаям. И с бородой не пожелал было расстаться, но когда царь указал, волком взвыл, а бороды себя лишил. Зато в другом во всем крепко старинки держался. Был у него сын, да под Нарвой убили его, после него осталась у старика Карголомского внучка. Ни за ним, ни перед ним никого больше не было. А вотчин и в дому богатства – тьма тьмущая.

Отдает великий государь письмо князю Тростенскому, сам такой приказ ему сказывает:

– Будучи на Москве, изволь отдать письмо Карголомскому, и что в том письме писано, изволь, с своей стороны, чинить по нашему указу. Внакладе не будешь... – Да поцеловавши князя в лоб, примолвил: – С богом.

Приехавши на Москву, подал князь Петр Иванович царское письмо Карголомскому. Прочитал старик, охнул, затрясся, пот на лбу у него выступил. Положив три земных поклона перед Спасовым образом, сказал князю Тростенскому:

– Воля государева, а мы все его да божи.

А в государеве письме было писано:

«Понеже господин майор князь Тростенский в европейских христианских государствах науке воинских дел довольно обучался и у высоких potentатов при наших резидентах не малое время находился, ныне же во время преславной, богом дарованной нам над свей-ским королем виктории великую храбрость пред нашими очами показал, того ради изволь выдать за него в замужество свою внуку, и тем делом прошу поспешить. А дело то и вас всех поручаю в милость всевышнего».

Горька пришлась свадьба старику Карголомскому: видел он, что нареченный его внучек – как есть немец немцем, только звание одно русское. Да ничего не поделаешь: царь указал. Даже горя-то не с кем было размыкать старику... О таком деле с кем говорить?.. Пришлось одному на старости лет тяжкую думушку думать. Не вытерпел долго старик – помер.

Молодые жили душа в душу. Великий государь и родные, глядя на них, не могли нарадоваться. Через год после Полтавской баталии даровал им господь княжну Марфу Петровну. Конца не было радостям. Сам государь княжну изволил от святой купели принимать и, когда стала она подрастать, все, бывало, нет-нет, а у отца и наведается, чему крестница обучается и каково ей наука дается. Ливонскую немку сам приставил ходить за ней, пленного шведа пожаловал для обучения княжны всякой науке и на чужестранных языках говорить, француза для танцев сам князь от себя наймовал. Придет, бывало, великий государь к князю Тростенскому – а ездил к нему нередко, – анисовой спросит, кренделем закусит и велит княжну к себе привести, почнет ее расспрашивать, чему дареный швед выучил, по-чужестранному заговорит с ней, менуэт заставит проплясать, а потом поцелует в лоб да примолвит: «Расти, крестница, да ума копи, вырастешь большая – мое будет дело жениха сыскать». Не сподобил царя господь при себе пристроить крестницу: пятнадцати годочков княжне не минуло, как взял к себе бог первого императора.

По восьмому годочку осталась княжна после матери, а родитель через полгода после великого государя жизнь скончал. Оставалась княжна сиротиночкой, кровных, близких родных нет никого, одна, что хмелинка без тычинки, и нет руки доброй, ласковой, поддержал бы сиротство да малость ее... За опекой дело не стало – сирота богатая, не объест...

Взяла княжну тетка ее внучатная – княгиня Байтерекова. Стала с ней княжна во дворец на куртаги ездить, на ассамблеи к светлейшему Меншикову, к графу Головкину, к князю Куракину, а к иным знатным персонам на балы, на банкеты, и с визитою. И не было в Питере подобных красавиц и разумниц, как княжна Марфа Петровна Тростенская.

В коем дому невеста богатая, в том дому женихи, что комары на болоте толкутся. Так в старые годы бывало, так повелось и в нынешни дни... У княжны отбою от женихов не было, а были те женихи из самых знатных родов, а которые не родословны, иль родов захудалых, те знатные чины при дворе иль в гвардии имели. Однако княжна хоть и молоденька была, но честь свою наблюдала крепко, многие ею «заразились», а она благосклонности никому не показала.

Девьеров сын, Петр Антоныч, был счастливей других. На куртагах княжну на любовь склонил, через тетку Байтерекову присватался, через отца своего доложил государыне... Перед обручением Екатерина Алексеевна изволила княжну иконой благословить, а свадьбу велела отложить, пока не пошлет ей господь облегченья. Была государыня нездоровая, а крестницу первого императора сама хотела замуж отдать и тем обещанье Петра Великого выполнить.

Ждут жених с невестой месяц, ждут другой, третий, царице все хуже да хуже. Болезнь становилась пружестокая, стали тихомолком поговаривать, вряд ли поднимет царицу господь. А кому, отходя сего света, земное царство откажет, не

ведал никто. И печальны все были... Не до пиров, не до свадеб... Государыня едва дух переводила, как женихова отца, графа Девьера, взяли под караул... Дом его опечатали, к княгине Байтерековой драгунский капитан приезжал: все вещи княжны Тростенской пересмотрел, какие письма от жениха к ней были, все отобрал, а самой впредь до указа никуда не велел из дома выезжать.

Перед вешним Николой, дня за три, по Питеру беготня пошла: знатные персоны в каретах скачут, приказный люд на своих на двоих бежит, все ко дворцу. Солдаты туда же маршируют, простой народ валит кучами... Что такое?.. Царицы не стало, бегут узнать, кто на русское царство сел, кому надо присягу давать. Услыхавши ту весть, княжна на пол так и покатилась...

Вечеру сказали: женихова отца кнутом бить, чести, чинов, имения лишить и послать в Сибирь, а жениха в дальнюю деревню вместе с его матерью. И родную сестру не пожалел светлейший Меншиков.

И проститься жениху с невестой не дали. Хотела было княжна с другом своим в несчастье ехать, да тетка Байтерекова и многие другие знатные персоны ее отговорили.

Год прошел; новый царь со всем двором в Москву переехал. Байтерекова с племянницей туда же... Там приглянись княжна князю Заборовскому. Человек был уже не молодой, лет под сорок, вдовец, хоть и бездетный. Княжна и слышать про него не хотела. А князь Алексей Юрьич с го-

сударевым фаворитом, князем Иваном Алексеичем Долгоруким, в ближней дружбе находился... Стал ему докучать про невесту, фаворит доложил государю... И сказано было княжне: «крестный твой отец, первый император, дал тебе обещанье, когда в возраст придешь, жениха сыскать, но не исполнил того обещания, волею божиею от временного царствования в вечное отыде, того ради великий государь, его императорское величество, памятуя обещание деда своего, указал тебе, княжне Марфе Петровой дочери Тростенского, быть замужем за князем Алексеем княж Юрьевичем Заборовским».

Только что стала зима, на Москве торжества и пиры пошли. Сам государь с сестрой фаворита обручался, фаворит с Шереметевой, князь Заборовский с княжной Тростенской. Ровно знал князь Алексей Юрьич, что скоро перемена последует: только Святки минули и свадьбы играть стало невозбранно, он повенчался с княжной.

Невеселая свадьба была: шла невеста под венец, что на смертную казнь, бледней полотна в церкви стояла, едва на ногах держалась. Фаворит в дружках был... Опоздал он и вошел в церковь сумрачный. С кем ни пошепчется – у каждого праздничное лицо горестным станет; шепнул словечко новобрачному, и тот насупился. И стала свадьба грустней похорон. И пира свадебного не было: по скорости гости разъехались, тужа и горюя, а о чем – не говорит никто. Наутро спознала Москва, – второй император при смерти.

Княгиня Марфа Петровна и до свадьбы и после свадьбы ходила словно в воду опущенная; новобрачный тоже день ото дня больше да больше кручинился... Про великого государя вести недобрые: все тяжелей становилось ему. А была в ту пору «семибоярщина». С семью верховными боярами и с фаворитом князь Заборовский заодно находился и каждый божий день во дворец к больному царю ездил. Только что великий государь преставился, пропал князь Алексей Юрьич, найти не могут, девался куда. Ни молодой княгине, ни в дому ничего не известно: пропал без вести да все туг. Месяца через два на Москве объявился: с Бироном вместе из Митавы приехал.

У курляндца все время в чести пребывал, сама царица Анна Ивановна великим жалованьем его жаловала. Оттого и княгиня Марфа Петровна при дворе безотменно находилась, и даже когда, бывало, сам-от князь отпросится от службы в Заборье гулять, княгиню Марфу Петровну государыня с мужем отпускать не изволила, каждый раз указ объявляла быть ей при себе. Сына родила княгиня Марфа Петровна, князь Бориса Алексеича. Государыня изволила его от купели принять и в конную гвардию вахмистром пожаловать.

Мало радостей видала дома княгиня Марфа Петровна. Горькая доля выпала ей, доставалось супружество скорбное. Князь крутенок был, каждый день в доме содом и гомор. А придет хмелен да распалится не в меру, и кулакам волю даст... Княгиня тихая была, безответная; только, бывало,

поплачет.

С первого же году стал князь от жены погуливать: ливонские девки у него на стороне жили да мамзель из французенок. По скорости и в дому завелись барские барыни. И тут никому княгиня не жалобилась, с одной подушкой горевала.

Покамест в Питере жили, княгиня частенько езжала во дворец и в дома знатных персон. Весело ль было ей, нет ли, про то никому не известно. Только, живучи в Питере, она ровно маков цвет цвела.

Получивши прощенье, приехал в Петербург Девьеров сын. Свиделись... И с того часу вконец разлютовался князь на жену свою. Зачахла она и локоны носить перестала... Князь редко и говорить с нею стал, с каждым днем лютей да лютей становился... Пока сын подрастал, княгиня с ним больше время проводила. Хоть учителей из французов и немцев приставлено было к маленькому князю вдоволь, однако ж княгиня Марфа Петровна сама больше учила его и много за то от князя терпела: боялся он, чтоб бабой княгиня сына не сделала... Отпустивши его уж из Заборья в Питер на царскую службу, стала княгиня ровно свеча таять и с той поры жила, как затворница. Только ее и видали, что в именины да в большие праздники, когда, по мужнину приказу, во всем параде к гостям выходила... И тут, бывало, мало кто от нее слово услышит, все, бывало, молчит. Сидя почти что безвыходно в своей горнице, книги читала, богу молилась, церковные воздухи да пелены шила. Гостей, бывало,

наедет множество, господа и барыни с барышнями пляшут до полночи, а княгиня молится. Там музыка гремит, танцы водят, шумное пиршество идет, а княгиня на коленях перед образом... Сколько раз и спать приходилось ложиться ей не ужинавши: девки вокруг нее были верченые – бросят, бывало, княгиню одну и пойдут глазеть, как господа в танцах забавляются... Начала княгиня глазами болеть, книги читать стало ей невозможно.

Жил у князя на хлебах из мелкопоместного шляхетства Кондратий Сергеич Белоусов. Деревню у него сосед оттягал, он и пошел на княжие харчи. Человек немолодой, совсем богом убитый: еле душа в нем держалась, кроткий был и смиренный, вина капли в рот не бирал, во Святом Писании силу знал, все, бывало, над божественными книгами сидит и ни единой службы господней не пропустит, прежде попа в церковь придет, после всех выйдет. И велела ему княгиня Марфа Петровна при себе быть, сама читать не могла, его заставляла.

Выехал князь на охоту, с самого выезда все не задавалось ему. За околицей поп навстречу; только что успел с попом расправиться, лошадь понесла, чуть до смерти не убила, русаков почти всех протравили, Пальма ногу перешибла. Распалился князь Алексей Юрьич: много арапником работал, но сердца не утолил. Воротился под вечер домой мрачен, грозен, ровно туча громовая.

Письмо подают. Взглянул, зарычал аки лев... Зеркала да

окна звенят, двери да столы трещат. Никто не поймет, на кого гнев простирает. Все по углам да молитву творят...

– Княгиню сюда! – закричал.

Докладывает гайдук Дормедонт: княгиня сверху сойти не могут, больны, в постели лежат. Едва вымолвил те слова Дормедонт: пал аки сноп. Пяти зубов потом не досчитался.

Сам вломился к княгине. Кондратий Сергеич возле постели сидит, житие великомученицы Варвары княгине читает.

– А! – зарычал князь. – И сына до того развратила, что на шлюхе женился, и сама с любовниками полуночничаеть!..

И дал волю гневу...

На другой день Кондратий Сергеич без вести пропал, а княгиня Марфа Петровна на столе лежала.

Пыштные были похороны: три архимандрита, священников человек сто. Хоть княгиню Марфу Петровну и мало кто знал, а все по ней плакали. А князь, стоя у гроба, хоть бы слезинку выронил, только похудел за последние дни да часто вздрагивал. Шесть недель нищую братию в Заборье кормили, каждую субботу деньги им по рукам раздавали, на человека по денежке.

В сорочины весь обед с заборским архимандритом князь беседу вел от Писания. Толковали, как душу спасать, как должно Христов закон исполнять.

– Вот хоть бы покойницу мою княгинюшку взять, – со смирением и слезами говорил князь Алексей Юрьич: – уж истинно угодовала себе место светло, место злачно, место

покойно в селении праведных... Что за доброта была, что за покорность!.. Да, отцы святии, нелицемерно могу сказать, передал я господу на пречистые руки его велию праведницу... Не по делом наградил меня царь небесный столь многоценным сокровищем. Всему нашему роду красой была, аки лоза плодовая; в моем дому процветала, всем была изукрашена: смирением, послушанием, молчанием, доброумием, пощением, нищелюбием, нескверно-ложием... Единая у меня радость была!.. Ох, господи, господи!.. Уж какво мне, отцы святии, прискорбно, уж какво-то мне горько, и поведать вам не могу. Как я без княгинюшки останную-то жизнь стану мыкать?.. Кто дом мой изобильем наполнит?.. Кто за меня бога умолит?

Утешают князя архимандриты и попы словами душеполезными, а он сидит, кручинится, да так и разливается, плачет.

– Нет, говорит, отцы преподобные, прискорбна душа моя даже до смерти! Не могу дольше жить в сем прелестном мире, давно алчу тихого пристанища от бурь житейских... Прими ты меня в число своей братии, отче святой, не отринь слезного моления: причти мя к малому стаду избранных, облеку во ангельский образ. – Так говорил архимандриту монастыря Заборского.

– Намерение благое, сиятельный князь, но дело божие должно творить с рассуждением, – отвечал архимандрит.

– Чего еще рассуждать-то?.. Внакладе не останешься: со-

рок тысяч вkladу. Мало – так сто, мало – так двести! Копить мне некому.

– Сын у вас есть, – заметил другой архимандрит.

– Князь-от Борька?.. Да коль хочет он, шельмец, живым быть, так не смей ко мне на глаза казаться!.. И меня погубил, злодей, и матери своей смерть причинил!.. Осрамил, злодей, нашу княжую фамилию!.. Честь нашу потерял, всему роду князей Заборовских бесчестье нанес!.. Без спросу, без родительского благословенья на мелкой шляхтенке женился!.. Да ей бы, каналье, за великую честь было у меня за свиньями ходить!.. Убил, шельмец, скаредным делом мою княгинюшку!.. Как услышала, сердечная, про князь-Борькино злодейство, так и покатила, тут же с ней кровяной удар и приключился...

И громко, навзрыд зарыдал князь Алексей Юрьич, поникнув головой на край стола.

– В несчастьи смиряться должно, ваше сиятельство, – заметил один архимандрит.

– Не перед князем ли Борькой смиряться мне?.. – вскрикнул князь Алексей Юрьич, быстро закинув назад голову и гневно засверкав очами. – Хоть ты и архимандрит, а выходишь дурак, да и тот дурак, кто тебя, болвана, архимандритом сделал!.. Мне перед щенком, перед скверным поросенком, князь-Борькой смириться!.. Нет, брат, жирно съешь!.. Ты кутейник, ты не можешь понять, что такое значит шляхетская честь!.. Да еще не просто шляхетская, а княжеская...

Мы Гедиминово рождение!.. Этого в пустую башку твою не влезет, хоть ты и в Клеве обучался!.. Все вы едино – одна жеребьячья порода!.. Не понять вам чести дворянской!.. Смерды вы, в подлости рождены, в подлости и помрете, хоть патриархами сделай вас!.. Перед князем Борькой смиряться мне!.. Эк что выдумал, долгогривый космач! Я еще его в бараний рог согну, покажу, как отца уважать надо... Полушки медной шельмецу не оставлю... Сам женюсь, я еще, слава богу, крепок. Другие дети будут; им все предоставлю. А князь Борька с своей подлой шляхтянкой броди себе под оконьем, кормись Христовым именем... За невестами у меня дело не станет: каждая барышня пойдет с удовольствием. Не пойдет, черт с ней, – на скотнице Машке женюсь!..

Под эти слова стали «тризну»⁹ пить. Архидьякон Заборского монастыря «Во блаженном успении» возгласил, певчие «Вечную память» запели. Все встали из-за стола и зачали во свят угол креститься. Князь Алексей Юрьич снопом повалился перед образами и так зарыдал, что, глядя на него, все заплакали. Насилу архимандриты поднять его с полу могли.

На другой день много порол, и всех почти из своих рук. На кого ни взглянет, за каждым вину найдет, шляхетным знакомцам пришлось невтерпеж, – бежать из Заборья собирались. В таком гневе с неделю времени был. Полютовал-полютовал, на медведя поехал. И с того часу, как свалил он

⁹ На похоронных обедах сливают вместе виноградное вино, ром, пиво, мед и пьют в конце стола. Это называется «тризной».

мишку ножом да рогатиной, и гнев и горе как рукой сняло.

Стареть стал, и грусть чаще и чаще на него находила. Сядет, бывало, в поле верхом на бочонок, зачнет, как водится, из ковша с охотой здравствоваться – вдруг помутится, и ковшик из рук вон. По полю смех, шум, гам – тут мигом все стихнет. Побудет этак мало времени – опять просияет князь.

– Напугал я вас, – скажет. – Эх, братцы, скоро умирать придется!.. Прощай, прощай, вольный свет... Прости, прощай, жите мое удалое...

Да вдруг и гаркнет:

Пей, гуляй, перва рота,
Втора рота на работу...

Тысяча голосов подхватит. И зачнутся пляс, крик, попойка до темной ночи...

VII

Княгиня Варвара Михайловна

Через год после кончины княгини Марфы Петровны привезли в Заборье письмо от князя Бориса Алексеича.

Прочитал его князь Алексей Юрьич, призвал старшего дворецкого и бурмистра и дал им такой приказ:

– Завтра князь Борька с своей поскудной шляхтянкой в Заборье приедет. Никто б перед ними шапки не ломал, попадетса кто навстречу, лай им всякую брань.

Ко мне допустите, а коней не откладывать. Прочучу скаредов да тем же моментом назад прогоню. Слышите?

– Слушаем, ваше сиятельство.

– Смотрите ж у меня! Ухо остро...

Чего не натерпелись князь Борис Алексеич с княгиней, ехавши по Заборью! Он, голову повеся, молча сидел, княгиня со слезами на глазах, кротко, приветно всем улыбалась. На приветы ее встречные ругали ее ругательски. Мальчишек сотни полторы с села согнали: бегут за молодыми господами, «у-у!» кричат, языки им высовывают.

Князь в зале – арапник в руке, глаза, как у волка, горят, голова ходенем ходит, а сам всем телом трясется... Тайным образом на всяк случай священника с заднего крыльца провели: может, исповедать кого надо будет.

Вошли молодые. Гневно и грозно кинулся к ним князь Алексей Юрьич... Да, взглянув на сноху, так и остамел... Арапник из рук выпал, лицо лаской-радостью просияло.

Молодые в ноги. Не допустил сноху князь в землю пасть, одной рукой обнял ее, другой за подбородок взял.

– Да ты у меня плутовка! – сказал ей ласково. – Глянька, какая пригожая!.. Поцелуй меня, доченька, познакомимся... Здравствуй, князь Борис, – молвил и сыну, ласково его обнимая. – Тебя бы за уши надо подрать, ну да уж бог с тобой... Что было – не смей вспоминать!..

Все диву дались. И то надо сказать, что княгиня Варвара Михайловна такая была красавица, что дикого зверя взглядом бы своим усмирила...

Зашумели в Заборье, что пчелки в улье. Всем был тот день великого праздника радостней. Какие балы после того пошли, какие пиры! Никогда таких не бывало в Заборье. И те пиры не на прежнюю стать: ни медведя, ни юродивых, ни шутов за обедом; шума, гама не слышно; а когда один из больших господ заговорил было про ночной кутеж в Розовом павильоне, князь Алексей Юрьич так на него посмотрел, что тот хотел что-то сказать, да голосу не хватило.

А все было делом княгини Варвары Михайловны. Бывало, скажет только: «полноте, батюшка-князь, так не годится», – и он все по ее слову. Миновались расправы на конюшне – кошки велел в кучу собрать и сжечь при себе... Барских барынь замуж повыдал, из мелкопоместного шляхетства, ко-

которые очень до водки охочи были и во хмелю беспокойны, по другим деревням на житье разослал. В доме чистота завелась, во всем порядок. Даже на охоте не по-прежнему стало. Полно на бочонок садиться, полно пить через край; выпьет, бывало, чарку-другую, другим даст хлебнуть, а без меры пить не велит. «Нехорошо, говорит, неравно доченька узнает, серчать станет».

И князя Бориса Алексеича полюбил, все на его руки сдал: и дом и вотчины. «Я, говорит, стар становлюсь; пора мне и на покое пожить. Ты, князь Борис, с доченькой заправляйте делами, а меня, старика, покойте да кормите. Немного мне надо, поживу с вами годочек-другой, внучка дождусь и пойду в монастырь богу молиться да к смертному часу готовиться».

Сына родила княгиня Варвара Михайловна. Сколько было радости! У всех на душе так легко, как будто светло воскресенье вдругорядь пришло, а князь Алексею Юрьичу ровно двадцать годов с костей скинуло. Возле княгининой спальни девятеро суток высидел, все наблюдал, чтоб кто не испугал ее. Носит, бывало, внучка по комнатам да тихонько колыбельные песенки ему напевает. Чуть пискнет младенец, тотчас бережно его в детскую, и там сядет бабушка у колыбельки, качает внучка. В крестины всей дворне по целковому рублю да по суконному кафтану пожаловал, двести отпущных выдал, барских барынь, которые замуж не угодили, со двора долой. Павильоны досками велел забить, не было б туда ни входу, ни выходу... Одну Дуняшку оставил, и то

тайком от княгини Варвары Михайловны.

Шести недель не прожил маленький князь. С такого горя князь Алексей Юрьич в постелю слег, два дня маковой росинки во рту у него не бывало, слова ни с кем не вымолвил. Мало-помалу княгиня же Варвара Михайловна его утешала. Сама, бывало, плачет по сынке, а свекра утешает, французские песенки ему сквозь слезы тихонько поет...

Году не длилось такое житье. Ведомость пришла, что прусский король подымается, надо войне быть. Князь Борис Алексеич в полках служил, на войну ему следовало. Стал собираться, княгиня с мужем ехать захотела, да старый князь слезно молил сноху, не покидала б его в одиночестве, представлял ей резоны, не женскому-де полу при войске быть; молодой князь жене то ж говорил. Послушалась княгиня Варвара Михайловна – осталась на горе в Заборье.

Слезное, умильное было прощанье!.. После молебна «в путь шествующих», благословил сына князь Алексей Юрьич святою иконой, обнял его и много поучал: сражался бы храбро, себя не щадил бы в бою, а судит господь живот положить – радостно пролил бы кровь и принял светлый небесный венец. «Об жене, – князь говорил, – ты не кручинься: будет ей и тепло и покойно»... А когда княгиня Варвара Михайловна с мужем стала прощаться, господа, шляхетные знакомцы и дворня навзрыд зарыдали... Смотреть без слез не могли, как обвилась она, сердечная, вокруг мужа и без слов, без дыханья повисла на шее. Так без чувств и снесли ее в постелю. Пере-

крестил жену князь Борис Алексеич, поцеловал и в карету сел.

По отъезде заборовская жизнь еще тише пошла от того, что княгиня много грустила. Приезд бывал невеликий, праздников, обедов не стало. Князь Алексей Юрьич не отходил от снохи, всячески ее успокоил, всячески утешал. Письма стали доходить от молодого князя; про баталии писал, писал, что дальше в Прусскую землю идти ему не велено, указано оставаться при полках в городе Мемеле. Княгиня веселей стала, а она весела – и все весело. Опять стали гости в Заборье собираться; опять пошли обеды да праздники. И все было добро, хорошо, тихо и стройно.

Позавидовал враг рода человеческого. Подосадовал треклятый, глядя на новые порядки в Заборье. И вложил в стихшую душу князя Алексея Юрьича помысл греховный, распалил старого сластолюбца бесовскою страстью... Стал князь сноху на нечистую любовь склонять. В ужас княгиня пришла, услышавши от свекра гнусные речи... Хотела образумить, да где уж тут!.. Вывел окаянный князя на стару дорогу...

– А! еретица!.. Честью не хочешь, так я тебе покажу.

И велел кликнуть Уляшку с Василисой: бабищи здоровенные, презлющие.

– Ну-ка, – говорит. – По старине!..

Закрутили бабы княгине руки назад и тихим обычаем пошли по своим местам. А князь гаркнул в окошко:

– Роба!

В двести рогов затрубили, собачий вой поднялся, и за тем содомом ничего не было слышно...

И пошла-поехала гульба прежняя, начались попойки денно-нощные, опять визг да пляску подняли барские барыни, опять стало в доме кабак кабаком... По-прежнему шумно, разгульно в Заборье... И кошки да плети по-прежнему в честь вошли.

А про княгиню Варвару Михайловну слышно одно: больна да больна. Никто ее не видит, никто не слышит – ровно в воду канула. Болтали, к мужу-де в Мемель просилась, да свекор не пустил, оттого-де и захворала.

Был в княжеской дворне отпетый головорез Гришка Шатун. Смолоду десять годов в бегах находился: сказывали, в Муромском лесу, у Кузьмы Рощина в шайке он жил. Когда разбойника Рощина словили, Шатун воротился в Заборье охотой... И князь Алексей Юрьич мало-помалу его возлюбил, приблизил к себе и знал через него все, что где ни делается. Терпеть не могли Шатуна, ровно нечистой силы боялись его.

Перехватил окаянный письмо, что княгиня к мужу послала. Прочитал старый князь и насупился. Целый день взад да вперед ходил он по комнатам, сам руки назад, думу думает да посвистывает. Ночи темней – не смеет никто и взглянуть на него...

Из Зимогорска от губернаторского секретаря письмо по-

дают. Пишет секретарь, держал бы князь ухо остро: губернатор-де с воеводой хоть и приятели вашего сиятельства, да забыли хлеб-соль; получивши жалобу княгини Варвары Михайловны, розыск в Заборье вздумали делать.

Опять молча, один-одинешенек, целый день ходил князь по комнатам дворца своего. Не ел, не пил, все думу какую-то думал... Вечером Гришку позвал. Держал его у себя чуть не до свету.

На другой день приказ – снаряжать в дорогу княгиню Варвару Михайловну. Отпускал к мужу в Мемель. Осенним вечером – а было темно, хоть глаз уколи – карету подали. Княгиня просталась со всеми, подошел старый князь – вся затряслась, чуть не упала.

– С богом, с богом, – говорит он, – прощай, сношенька... Сажайте княгиню в карету.

Посадили. Сзади сели Уляшка с Василисой, на козлах Шатун.

Ночью князь в саду пробыл немалое время... Своими руками Розовый павильон запер и ключ в Волгу бросил. Все двери в сад заколотили, и был отдан приказ близко к нему не подходить.

В ту же ночь без вести пропала Никифора конюха дочь. Чудное дело!.. Недели четыре девку лихоманка трепала – жизни никто в ней не чаял, и вдруг сбежала... С той поры об Аришке ни слуху, ни духу... Много чудились, а зря язык распускать никто не посмел...

Проводивши княгиню, Гришка Шатун с обеими бабами домой воротился. Докладывает, княгиня-де Варвара Михайловна на дороге разнемоглась, приказала остановиться в таком-то городе, за лекарем послала; лекарь был у нее, да помочь уже было нельзя, через трое суток княгиня преставилась. Письмо князю подал от воеводы того города, от лекаря, что лечил, от попа, что хоронил. Взял письма князь и, не читавши, сунул в карман.

По кончине князя Алексея Юрьича Василиса каялась, что княгиню Варвару Михайловну, только что из Заборья они выехали, задней дорогой подвезли к Розовому павильону, а вместо ее посадили в карету больную Аришку. Когда же дорогой Аришке смерть приключилась, вместо княгини ее схоронили.

Гришки с Уляшкой скоро не стало. На другой либо на третий день после того, как они воротились, послал их князь по какому-то делу за Волгу. Осень была, по реке «сало» пошло. Поехал Шатун с Уляшкой, стало их затирать, лодчонка плохая – пошли ко дну... Когда закричали в Заборье, наши-де тонут, на венце горы стал недвижим князь Алексей Юрьич, руки за спину заложивши. Ветер шляпу сорвал, а он стоит, глаз не сводит; зорко глядит на людскую погибель, седые волосы ветер так и развевает... Пошли ко дну, перекрестился и тотчас домой...

Василиса накануне того дня сбежала. Разлютовался князь: «Подавай Василису живую иль мертвую». Докладывают: по-

шла к свату в соседнюю деревню, захмелела, легла спать в овине, овин сгорел, и Василиса в нем... Строгие розыски делал, сам на овинное пожарище ездил, обгорелые косточки тростью пошевырял. Уверился, стих... А те обгорелые кости были не Василисины, а некоего забеглого шатуна, что шел в Заборье на княжие харчи... Шел на волю да на пьяное житье, попал в овин; а оттуда в жизнь вековечную... И то дело Василисин деверь состряпал. Был он на ту пору велик человек у князя Алексея Юрьича.

«Концы в воду, басни в куст, – утешает себя князь. – Двадцать розысков наезжай – ничего не разыщут».

Запили, загуляли – чуть не все погребя опростали. Две недели все пьяны были без просыпу. А из города вести за вестями – розыск едет, а князю и горюшка нету – гуляет!.. Больших господ на ту пору уж не было, и мелкое шляхетство стало редеть, знакомцы и те каждую ночь по два да по три человека зачали бегать. Иные, помня княжую хлеб-соль, докладывали ему, поберегся бы маленько, ходят-де слухи, розыск в Заборье готовят... У князя один ответ: «Это будет, когда черт умрет, а он еще и не хварывал. Приедет губернатор, – милости просим: плети готовы»... А шляхетство все тягу да тягу. Пришлось под конец князю с одними холопами бражничать. На что пиита – и тот сбежал.

Середь залы бочонки с вином. И пьют и льют, да тут же и спят вповалку. Девки – в чем мать на свет родила, волосы раскосмативши, по всему дому скачут да срамные песни по-

ют. А князь немывтый, небритый, нечесаный, в одной рубахе на ковре середь залы возле бочонка сидит да только покривает: «Эй, вы, черти, веселее!.. Головы не вешай, хозяина не печаль!..»

Что денег он тогда без пути разбросал... Девкам пригоршнями жемчуг делил, серьги, перстни, фермуары брильянтовые, материи всякие раздаривал, бархаты...

Раз под утро узнают: розыск наехал... Стихла гульба.

– По местам! – сказал князь. – Были бы плети наготове. Я их разыщу!

Приходит майор, с ним двое чиновных. Князь в гостиной во всем параде: в пудре, в бархатном кафтане, в кавалерии. Вошли те, а он чуть привстал и на стулья им не показывает, говорит:

– Зачем пожаловать изволили?

– Велено нам строжайший розыск о твоих скаредных поступках с покойной княгиней Варварой Михайловной сделать.

– Что-о? – крикнул князь и ногами затопал. – Да как ты смел, пашенок, холопский свой нос ко мне совать?.. Не знаешь разве, кто я?.. От кого прислан?.. От воеводы-шельмеца аль от губернатора-мошенника?.. И они у меня в переделе побывают... А тебя!.. Плетей!..

– Уймись, – говорит майор. – Со мной шкадрон драгун, а прислан я не от воеводы, а из тайной канцелярии, по именному ее императорского величества указу...

Только вымолвил он это слово, всем телом затрясся князь. Схватился за голову да одно слово твердит:

– Ох, пропал... ох, пропал!..

Подошел к майору смирнехонько, божится, что знать ничего не знает и ни в чем не виноват, что если б жива была княгиня Варвара Михайловна, сама бы невинность его доказала.

– Покойница княгиня о твоих богомерзких делах своей рукой ее императорскому величеству челобитную писала. Гляди!

И показал княгинино челобитье.

– Прозевал, значит, Шатун!.. – прошептал князь. – Счастлив, что на свете нет тебя.

– В силу данного нам указа, – говорит майор, – во все время розыска быть тебе, князь Алексей князь Юрьев сын Заборский, в своем доме под жестоким караулом. Для того и драгуны ко всем дверям приставлены. Выхода отсель тебе нет.

Голосу у князя не хватает.

Стол раскладывают, бумаги кладут, за стол садятся, ничего князь не видит: стоит, глаза в угол уставивши, одно твердит:

– Ох, пропал, ох, пропал!..

А майор розыск зачинает. Говорит:

– Князь Алексей князь Юрьев сын Заборский. По именному ее императорского величества указу из тайной канце-

лярии изволь нам по пунктам показать доподлинную и самую доточную правду по взведенному на тебя богомерзкому и скаредному делу...

– Не погуби!.. Смилуйся! Будьте отцы родные, не погубите старика!.. Ни впредь, ни после не буду... Будьте милостивы!..

И повалился князь в ноги майору.

Велик был человек, архимандритов в глаза дураками ругал, до губернатора с плетями добратся хотел, а как грянул царский гнев – майору в ножки поклонился.

– Не погубите!.. – твердит. – В монастырь пойду, в затвор затворюсь, схиму надену... Не погубите, милостивцы!.. Золотом осыплю... Что ни есть в дому, все ваше, все берите, меня только не губите...

– Встань, – говорит майор. – Не стыдно ль тебе? Ведь ты дворянин, князь.

– Какой я дворянин!.. Что мое княжество!.. Холоп я твой вековечный: как же мне тебе не кланяться?.. Милости ведь прошу. Теперь ты велик человек, все в твоих руках, не погуби!.. Двадцать тысяч рублей сейчас выдам, только бы все в мою пользу пошло.

– Полно бездельные речи нести, давай ответ в силу данного нам указа.

Поднялся князь на ноги, скрепил себя, грозно нахмурился и глухо ответил:

– Знать ничего не знаю, ведать не ведаю.

– Смотри, не пришлось бы нам ту комнату застенком сделать. Не хочешь добром подлинной правды сказать – другие средства найдем: кнут не ангел – души не вынет, а правду скажет.

Опустился на кресло князь, побагровел весь, глаза закатились, еле дух переводит.

– Ой, пропал!.. – твердит. – Ой, не снесу!..

Посмотрел на него майор... Остановил розыск до другого дня.

К князю никого не допускают. Ходит один-одинешенек по запустелому дому, волосы рвет на себе, воев в неточный голос.

Идет по портретной галерее, взглянул на портрет княгини Варвары Михайловны – и стал как вкопанный...

Чудится ему, что лицо княгини ожило, и она со скорбью, с укором головкой качает ему...

Грянулся о пол... Язык отнялся, движенья не стало...

Подняли, в постель уложили. Что-то маячит, но понять невозможно, а глаза так и горят. Майор посмотрел, за лекарем послал, людей допустил.

Кинул лекарь руду. Маленько полегчало. Хоть косно, а стал кое-что говорить. Дворецкого подозвал.

– Замажь, – говорит, – лицо на портрете княгини Варвары Михайловны. Сию же минуту замажь.

Замазали. Докладывают.

– Ладно, – молвил. – Не скажет теперь майору.

Думали – бредит, взглянули – духу нет...
Так розыску и не было.